



Annotation

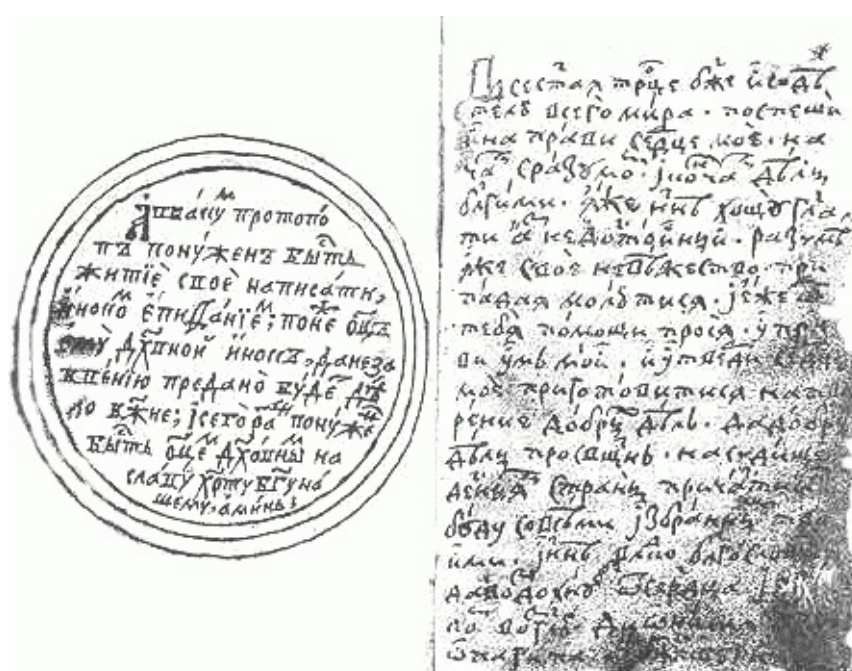
Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- [В. А. Мякотин](#)
 -
 - [ОТ АВТОРА](#)
 - [ГЛАВА I. УМСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РУССКОГО НАРОДА В ЭПОХУ ПОЯВЛЕНИЯ РАСКОЛА](#)
 - [ГЛАВА II. ЖИЗНЬ АВВАКУМА ДО ПЕРВОЙ ССЫЛКИ](#)
 - [ГЛАВА III. ЖИЗНЬ В ТОБОЛЬСКЕ И ДАУРИИ](#)
 - [ГЛАВА IV. ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ И НОВОЕ УДАЛЕНИЕ ИЗ НЕЕ](#)
 - [ГЛАВА V. СОБОР 1666—1667 ГОДОВ](#)
 - [ГЛАВА VI. ЖИЗНЬ В ПУСТОЗЕРСКЕ. ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВВАКУМА. КАЗНЬ ЕГО](#)
 - [ИСТОЧНИКИ](#)
-

В. А. Мякотин

Протопоп Аввакум. Его жизнь и деятельность

Биографический очерк



Автограф Жития протопопа Аввакума с припиской в круглой рамке старца Епифания

ОТ АВТОРА

Написать полную биографию Аввакума, этого первоапостола и главного борца раскола, значило бы вместе написать и историю самого раскола за первые двадцать лет его существования. Но эта задача во всем ее объеме, конечно, не могла входить в скромные рамки настоящего очерка. Предстояло, таким образом, из всего разнообразного материала, даваемого этой богатой событиями жизнью, избрать наиболее важную и характерную сторону и неизбежно оставить до некоторой степени в тени остальные. Такой наиболее существенной стороной в жизни Аввакума является, несомненно, идейное ее содержание, представляющее собою яркую страницу из истории того умственного движения, какое происходило в Московской Руси XVII столетия.

При этом, однако, я считал невозможным обойтись без указания на происхождение самого движения, и этой цели служит первая глава, являющаяся ничем иным, как сводом высказанных в литературе положений, но и в таком своем виде, быть может, бесполезная. В тесной связи с указанным взглядом поставлено и все изложение биографии, в котором главное внимание обращено на изображение идейной стороны движения, тогда как подробности бытовой обстановки отступают на второй план. Довольствуясь теми из них, какие заключаются в сочинениях самого Аввакума, и не привлекая к делу в этом случае других источников, я, вместе с тем, и изображение внутренних отношений раскольничьей общины вводил в свой рассказ лишь постольку, поскольку оно могло служить для главной цели последнего – уяснения характера и развития идей раскола.

В. Мякотин

ГЛАВА I. УМСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РУССКОГО НАРОДА В ЭПОХУ ПОЯВЛЕНИЯ РАСКОЛА

История каждого народа знает эпохи более или менее крутого перелома умственной жизни нации, более или менее резкого разрыва ее со старыми преданиями и традициями. В жизни русского народа одной из наиболее замечательных эпох такого рода была вторая половина XVII века, начавшая собою новый период в истории умственного развития страны и надолго разъединившая жизнь общества и народной массы. Посвящая настоящий очерк жизни одного из главнейших деятелей названной эпохи, мы позволим себе, однако, начать свое изложение издали – с тех событий, которые подготовили умственный кризис, пережитый Россией в XVII столетии.

К концу XV века исчезла независимость отдельных северорусских земель и княжеств, и на месте ряда самостоятельных политических единиц сложилось единое Московское государство. Это обращение Москвы из удельного княжества в национальное великорусское государство должно было задать немалую работу народной мысли, побуждая ее вдуматься в новые факты и сделать из них соответствующие выводы. Последние и не замедлили появиться, приняв притом такое направление, какое указывалось самими условиями, сопровождавшими возвышение Москвы и содействовавшими ему.

То национальное знамя, которое поднято было Москвою и освящало собирательную политику московских князей, превращая ее из династической в народную, очутилось в руках этих князей благодаря борьбе их с татарами. Но еще раньше, чем эта борьба приняла благоприятный для русского народа характер, она отразилась в его жизни многочисленными последствиями. Татарское нашествие обрушилось на Русь в тот момент, когда умственная деятельность народа только что начинала принимать более широкие размеры, и вновь сузило круг этой деятельности, ограничив ее одним церковным просвещением. В свою очередь, стремление освободиться от чужеземного и вместе иноверческого ига повышало религиозное сознание и придавало ему характер исключительности в то самое время, когда благодаря невольному отчуждению от всех других наций и направлению всех усилий народа на

политическую организацию с целью вернуть себе самостоятельность слабело и падало просвещение. В XV веке слышатся постоянные жалобы на падение и того скудного образования, какое имелось на Руси. Церковные иерархи все чаще заявляли, что им приходится ставить в священники людей, которые “едва грамоте умеют”, плохо читают священные книги, а писать и совсем не могут. Там, где среди класса, наиболее образованного уже по одному своему положению, была слабо развита простая грамотность, не могло, конечно, быть и речи о существовании сколько-нибудь серьезного образования. Наряду с этим национально-религиозная исключительность принимала с течением времени все более широкие размеры. Внушения нетерпимости, издавна шедшие из Византии, не распространявшиеся в дотатарский период своего влияния за пределы духовенства, теперь приобрели широкую популярность в массах. Находясь под владычеством татар и относясь к ним с понятным враждебным чувством, русский народ привык противопоставлять им себя не только в племенном, но и в религиозном отношении, привык отличать себя как православных христиан от “поганых”, “басурманов” и понимать себя как защитника христианства от этих басурманов, видя в борьбе с ними в некотором роде свое призвание.

В конце XV века самый тяжелый акт борьбы с татарами был закончен: вновь создавшееся государство Московское сломало их владычество над Русью, но то чувство, с каким велась эта борьба раньше, осталось и продолжало влиять на выработку народного мировоззрения. Мало того, оно распространилось теперь еще и в другую сторону. Нарушенная связь с Западом не могла быть восстановлена тотчас по уничтожении татарского ига: между Западом и Московской Русью стояло литовско-польское государство, также враждебное ей и покушавшееся на ее самостоятельность. На борьбу с этим государством, хотя и христианским, но все же иноверческим, московские люди перенесли те взгляды на себя и своих противников, какие они выработали в борьбе с язычниками, позднее мусульманами. Польские и литовские католики также получают в устах москвичей название “поганых”, “латинство” под влиянием естественного раздражения в борьбе и византийских увещаний представляется не менее грозным врагом православия, чем магометанство. Само общение с католиками начинает считаться грехом, и в кормчих появляются под видом “заповеди св. апостолов и св. отцов” правила, подобные следующему: “аще в судне будет латина ела, то, измывши, молитва сотворити и у латинской церкви не стояти”. Поставленное ходом исторических событий среди враждебных иноплеменных и иноверных соседей, Московское государство

воспитало, таким образом, в себе взгляд, отождествлявший его национальность с религией и ставивший последнюю как бы конечною его целью. Христианство отделяло Москву от татар, православное исповедание отличало ее от западных христиан, и в том и другом случае народ представлялся самому себе обладателем высшей религиозной истины и растил в своей среде национально-религиозную нетерпимость.

Политические успехи московского княжества в борьбе с соседями прибавили к этой нетерпимости еще новый оттенок. Под влиянием этих успехов московские люди начали считать себя выше всех других людей, свое государство лучше всех остальных. Согласно их воззрению, все иные, неправовверные страны лишены были благодати, почившей на Москве, и потому не могли равняться с нею. Иностранцев, знакомившихся с русским бытом в XVI веке, особенно поражала эта черта заносчивого московского высокомерия и распространенный в Москве взгляд на чужие земли как на вместилища неправовверия, ереси и соблазна. Такой взгляд достиг своего апогея, когда в район его были включены не только страны католические и мусульманские, но и православные, и прежде всего та самая страна, которая в течение веков была единственною учительницею и наставницею Руси в деле веры, – Византия.

В то самое время, когда Москва получила перевес над своими врагами и начала возвышаться быстрее, связывая с этим возвышением мысль о защите православия, Византия все более и более слабела под натиском турецкого могущества и делала последние, тщетные попытки сохранить свою самостоятельность. Стремясь к этой цели, византийское правительство искало себе помощи у западных народов и, думая сделать такую помощь более вероятной и действительной, решилось на соединение церквей, результатом чего была известная Флорентийская уния. В подчиненной Константинополю в церковном отношении Москве взглянули на эту унию как на измену православию и такой измене готовы были приписать самое взятие Царьграда турками и падение греческой империи. Москва, успевшая воспитать в себе ожесточенную вражду к латинству, счастливая в своих политических предприятиях, оказалась непримиримее своей руководительницы в делах религии и выказала явное неповиновение греческой метрополии. Русский князь не принял унии, привезенной в Москву митрополитом Исидором; последний за присоединение к ней был свергнут и заточен, а на его место был выбран русскими иерархами новый митрополит без совета с Константинополем. Эти события окончательно укрепили среди москвичей убеждение, что православие в чистом своем виде сохранилось только на Руси, которая и должна теперь исключительно

на себя принять его защиту и охрану. Такое противопоставление московской Руси другим православным странам наполняло отрадой и гордостью сердца московских патриотов. “Сия убо вся благочестивая царствия, – писал один из них, – греческое и сербское, басанское и арбаназское, грех ради наших Божиим попущением безбожнии турци поплениша и в запустение положиша и покориша под свою власть. Наша же Русийская земля Божиею милостию и молитвами пречистыя Богородицы и всех святых чудотворец растет, и млает, и возвышается. Ей же, Христе милостивый, даждь расти, и млаети, и расширяться и до скончания века”. Все православные страны потеряли свою независимость, потеряли потому, что не сумели сохранить самого православия, одна Москва не только не пала, но еще все усиливается. Естественно было появиться мысли, что виной этому – большее правоверие Москвы сравнительно с другими, и такая мысль действительно не замедлила зародиться. Другой писатель-патриот, рассказывая о Флорентийском соборе, влагает уже в уста императора Иоанна такие лестные для Москвы слова: “яко восточнии земли суть большее православие и высшее хрестьянство – Белая Русь”. Постепенно развиваясь, мысль об утрате греками чистоты веры и первенства в православном мире и о замене в этом отношении Византии Москвою нашла себе, наконец, полное выражение в сказании о трех Римах.

Два было Рима, утверждал псковский старец Филофей: первый был велик и славен, но увлекся в папскую ересь и пал, его значение и слава вместе с правой верой перешли на второй Рим – Византию. И эта последняя после долгого времени тоже свернула с пути истины, изменила православию, приняла латинскую ересь и в наказание за это предана агарянам; на месте соборной церкви града Константина воцарилась мерзость запустения, а православная вера “испроказилась Махметовой прелестью от безбожных турок”. Прежнее значение этих двух Римов перешло на третий – Москву, где процвело благочестие и воссияла благодать, где вера сохранилась чистой и невредимой. Уже не храм св. Софии в Царьграде, а Успенский собор в Москве является центром православного мира. Политические успехи Москвы ставились, таким образом, русскими книжниками в тесную связь с сохранившимся в ней правоверием и даже исключительно объяснялись последним. Вместе с тем оно сообщало Московскому государству новое значение главы православия. Единственное уцелевшее из православных государств в силу этого взгляда ставилось выше всех остальных, облакалось авторитетом наибольшей религиозной высоты, перед которой должны были преклониться другие

народы. В московских литературных произведениях появляются даже предсказания, что все христианские царства сойдутся в одно царство русское “православия ради”, и, как бы в виде предвестников этого, возникают одна за другою легенды о чудесном переходе христианских святынь из неправоверных Рима и Византии в Московское государство.

На этой стадии своего развития национальное самомнение доходило уже до степени своеобразного мессианизма. Русский народ представлялся самому себе избранным сосудом Божиим, на котором почитает благодать свыше, недоступная никому другому иначе, как через его посредство. Он, и один только он, хранил в себе великую истину, способную разрушать и создавать царства, губить и воздвигать народы, все остальные племена земного шара уклонились в большей или меньшей степени от правого пути и, желая вновь вступить на него, должны были искать указаний и помощи в правоверной и благочестивой Москве, сохранившей в своих стенах незатемненным свет истинного учения, а наибольшая вероятность спасения предоставлялась этим народностям в том случае, если бы они, покинув свои ереси и заблуждения, православия ради признали над собою власть московского царя. Русские же люди, чтобы не испестрить и своей веры иноземными ересями, должны были избегать всякого общения с чужеземцами. Полное и абсолютное превосходство естественно предполагало замыкание в собственной среде и отстранение от всех других народностей.

Тем временем русское “правоверие” получило действительно особый вид, отличавший его от иных православных церквей. Было вполне естественным явлением, что на первых порах существования христианства в России из всех его сторон получили преобладание практическая нравственность и обрядовая форма, но, когда и с течением времени не развилось более серьезное образование, которое дало бы возможность и большей глубины и сознательности религиозного мышления, тогда форма окончательно получила перевес над содержанием. Более доступная грубому уму, она сосредоточивала на себе все его внимание, отвлекая его от иных, более серьезных вопросов. Уже под 1476 годом можно прочесть в 4 новгородской летописи такую запись: “той же зимы некоторые философов начаши пети: “О Господи, помилуй”, а друзей: “Господи, помилуй”. Если это разногласие, эти споры “философов” заносились в летопись как важное событие, то легко себе представить, каким убожеством отличалась русская религиозная мысль того времени. Между тем с развитием обрядности, не дававшей места живому пониманию религии, соединилось невежество, не позволявшее сохранить в неизменности даже внешнюю ее форму. Начались

споры о том, два или три раза петь аллилуйя, двумя или тремя пальцами креститься и т. п., и в подобных прениях не раз “не могли доспеть” отцы нарочно для их разрешения созванных соборов. С той поры, однако, как русская земля была признана единственной обладательницей чистой веры, нашелся и критерий для разрешения подобных споров. Там, где русский обряд разногласил с греческим, правильным признавался первый, и таким путем немало искаженных обрядов и случайных ошибок переписчиков священных книг было введено в практику русской церкви. Отсутствие серьезной, вооруженной знанием и критикой мысли в сфере религиозных отношений повело еще и к другому последствию. Нравственные требования, какие ставила церковь своим членам, равным образом выродились в сухую и мертвенную обрядовую форму и опирались гораздо более на внешнее принуждение, чем на сознательное и свободное самоопределение личности. Соответственно этому определялось и их применение в житейской практике: для одних они потеряли всякое серьезное значение, оставаясь одной внешней сдержкой, мало препятствовавшей на деле разгулу страстей, других буквальное следование форме увлекало в мрачный и односторонний монашеский аскетизм. Чем гуще становился с течением времени окутывавший Московскую Русь мрак невежества, тем удушливее делалась атмосфера умственной жизни народа, тем менее находило себе оправдания на практике гордое самовосхваление московских книжников. Эти явления не ускользнули от наблюдения живших в то время в Москве иностранцев, которые в своих сочинениях о Московском государстве оставили нам печальную картину необразованности народа.

Но не так смотрели на дело сами московские люди. Тот полный оптимизма взгляд, какой выработался у них на окружавшую их действительность, те мессианистические воззрения, какие они связывали с настоящим и будущим своей страны, в дальнейшем своем развитии неизбежно приводили их к полному квиетизму. Москве незачем было заботиться о движении вперед, о развитии каких-либо новых начал, когда и старые не только спасали ее, но еще доставляли ей выгодное и лестное положение третьего Рима, идеального центра Вселенной. Ей предстояло только сохранить в целостности известную форму религии, в народном представлении неразрывно связанную уже с самою национальностью, и этого было достаточно для решения вопроса о настоящей и будущей жизни народа. Сама связь религии с народностью благодаря своей продолжительности и исключительности сделалась обоюдной; слова “русский” и “православный” стали синонимами, и если, с одной стороны, в

состав национально-русского элемента включено было понятие православия, то с другой – все народные обычаи, понятия и нравы, хотя бы они совсем и не входили в религиозную область, крестились тем же именем православия, коли они не вступали в резкое и осязательное противоречие с учением церкви.

При таком проникновении всей народной жизни религиозным элементом, соединявшемся еще с представлением о последнем как о “большем православии” и “высшем христианстве”, само собою, не представлялось никакой надобности в усвоении иного образования. Напротив, это последнее, на какой бы ступени развития оно ни стояло, оказывалось жалким и не заслуживающим внимания по сравнению с тою истиной, какая уже находилась в обладании народа. “Братия, не высокоумствуйте, но во смирении пребывайте, по сему же и прочая разумевайте!” – писали в ту эпоху в поучениях и переписывали в школьных прописях. – “А ще кто ти речет: веси ли всю философию, и ты ему рци: еллинских борзостей не текох, риторских астрономов не читах, ни с мудрыми философами не бывах, философию ниже очима видех: учуся книгам благодатнаго закона, аще бы мощно моя грешная душа очистити от грех”.

Московские люди смутно уже знали, что есть и другая наука, но эта иная наука, отнимавшая у них их привилегированное положение, зародившаяся в полных ереси чужих странах, возбуждала в них только недоверие и вражду, казалась противоречащей не только тому значению, какое присваивала себе Москва во имя хранившегося в ней православного христианского учения, но и самому этому учению. Московские книжники не задумывались поэтому отворачиваться от этой неправовой науки и даже предавать ее проклятию. В одном из древних поучений можно прочесть по ее адресу такие фразы: “богомерзостен перед Богом всяк любяй геометрию, а се душевнии греси: учитися астрологии и еллинским книгам... проклиная мудрость тех, иже зрят на круг небесный; своему разуму верующий удобь впадает в прелести различныя; любя простыню (простоту) паче мудрости; величайшаго себе не изыскай и глубочайшаго себе не испытай, а елико ти предано от Бога готовое учение, то содержи”. Усвоение всяких светских знаний, выходивших из тесных рамок обыденного житейского опыта и касавшихся сколько-нибудь более серьезных вопросов, представлялось с этой точки зрения безумным грехом. Жизнь одного народа со всеми ее отклонениями противопоставлялась жизни всего человечества как нечто образцовое, и все научные приобретения, все завоевания культуры должны были померкнуть перед “готовым учением”,

данным одной народности, незнакомой с “эллинскими борзостями”. Этот счастливый народ должен был только ревниво беречь свое, полученное от предков сокровище, как огня чуждаясь общения с иноземцами. При этом обязанность наблюдения за сохранением данного строя жизни лежала на иерархии, не только духовной, но и светской, которая, входя сама в состав порядка, освященного религией, должна была на охрану последней прежде всего обращать свою власть. Умственная самодеятельность всего народа сводилась к нулю. Всякое изменение, всякое самое незначительное отступление от установившихся порядков было тяжким грехом и вместе преступлением, так как оно колебало краеугольный камень всей системы – веру в исключительное правоверие Москвы. Но такое отречение от умственной деятельности, от дальнейшего свободного развития, от общения с иноземцами еще поддерживало, развивало и укрепляло те заблуждения и ошибки, которые уже вкрались в умственную и, в частности, религиозную жизнь народа.

Проявление невежества и суеверия в этой жизни по временам останавливали на себе внимание отдельных мыслящих и более просвещенных людей московского общества и порой вызывали даже у некоторых церковных иерархов стремление исправить зло, но такое исправление было, при данных условиях, очень трудно, и благие пожелания оставались неисполненными. В своей среде не хватало для этого необходимых сил в виде образованных людей, а на тех людей даже православного Востока, которые могли бы взяться за такое дело, в Москве готовы были смотреть как на еретиков в то самое время, как национальное самомнение в связи с уважением к обрядности заставляло видеть неприкосновенную святыню в каждой букве священной книги, в каждой подробности родного обряда. Характерна в этом смысле история Максима Грека. Ученый афонский монах, он приехал в Москву для разбора великокняжеской библиотеки, и здесь ему поручили просмотр и исправление церковных книг, испорченных невежественными переписчиками. Его исправления вызвали, однако, сильные жалобы: “велию, о человеце, – говорили ему московские люди, – досаду тем делом прилагавши в земли нашей чудотворцем: они бо сичевыми книгами благоугодиша Богови”. Максим подвергся обвинению в ереси и был заточен в монастырь. Один из помогавших ему писцов рассказывал впоследствии, что великий ужас и трепет объяли его, когда Максим велел ему вычеркнуть несколько строк в исправляемой книге. Великий ужас и трепет охватывали и большую часть московского общества всякий раз, как оно видело покушение изменить что-либо в родной “святой старине”. При

таким положением усилия отдельных иерархов церкви не приводили ни к какому результату и, оканчиваясь постоянно поражением, все более ослабевали. В текст богослужебных книг широкой струей вливались различные ошибки, а люди, пытавшиеся противодействовать этому, платили за свои попытки годами жестокого заключения, как это было с архимандритом Троицкой лавры Дионисием. Под знаменем исключительного русского правоверия освящались все частные заблуждения, приобретая характер национального отличия и религиозного догматизма. Восставать против них значило идти против народности и религии и немудрено, что такие восстания влекли за собою тяжкую кару как нарушение извечных порядков, освященных всем авторитетом народного предания.

Так, узконационалистический принцип мессианизма в конечном своем развитии поглотил все соединившиеся с ним элементы, по отношению к которым он первоначально играл лишь служебную роль, и, приобретя первенствующее значение, вместе с тем, неизбежно исключал всякое сознательное и живое стремление вперед. Проповедуя безусловное поклонение старине, он вел к полному застою умственной жизни народа и заграждал ему все пути дальнейшего развития. Конечным словом, последним результатом этой долго слагавшейся системы была полная остановка умственного роста народа, замерзание его на однажды выработанных точках зрения, отречение от всего остального человечества во имя своего идеального совершенства и медленная смерть за китайской стеной, воздвигнутой его собственными усилиями. Но в то самое время, когда договаривалось последнее слово этой теории, в народной жизни возникло иное стремление, которому суждено было разбить крепкую броню национальной исключительности московского общества и вывести его на более широкий путь развития. Такое стремление было вызвано теми условиями политической обстановки, в каких очутилось Московское государство с началом XVII века.

Исходным пунктом религиозно-националистических идей Москвы послужили ее политические успехи, которые помогли ей создать единое государство из разрозненных северорусских земель и удачно защищать затем самостоятельность этого государства от враждебных покушений на нее. Почти до самого конца XVI столетия продолжались эти удачи Москвы в области внешней политики, совершаясь за счет ее соседей. В том тесном круге политических отношений, в котором вращалось Московское государство до последних десятилетий XVI века, оно одержало несомненное, хотя и не полное торжество, и немудрено, если

возбужденному воображению москвичей при их ограниченном политическом кругозоре это торжество представлялось победой русского правоверия над латинством и мусульманством и в нем готовы были провидеть начало соединения всех царств под руку светлого и благоверного царя московского. Но именно эти внешние успехи и послужили затем толчком к изменению отношений между Москвой и ее соседями, постепенно повлекшему за собой весьма серьезные перемены как в государственном строе Москвы, так и в складе самосознания ее населения. Дело заключалось прежде всего в том, что путем своих успехов в международных отношениях Московское государство вышло на более широкую политическую арену и вызвало против себя более грозные силы, чем те, с какими ему приходилось считаться раньше. Из-за старых врагов Москвы – Литвы и татар, от которых она обороняла русскую землю, в конце XVI века поднялись новые и гораздо более опасные в лице Польши и Турции. Нельзя сказать, что теория, ставившая Москву центром и главою православия, не предвидела таких результатов: она указывала на необходимость борьбы, которая теперь возникала, но, утверждая свои теоретические положения, плохо рассчитала их отношение к действительности. Когда московское правительство, расширяя свои завоевательные планы, попыталось пробиться к морю и приобрести Ливонию, оно натолкнулось на энергичное сопротивление Польши и Швеции и потерпело в этой борьбе решительную неудачу. Вслед за тем и вообще отношения Московского государства с Польшей на некоторое время приобрели характер как раз обратный тому, какой имели отношения Москвы с Литвой. Пользуясь тяжелым положением государства, разоренного борьбой и потрясенного внутренними смутами, Польша, в свою очередь, перешла в наступательное положение и с оружием в руках внесла даже католическую пропаганду в русские пределы. Лишь грандиозное напряжение сил народа сохранило Москве ее самостоятельность и восстановило равновесие боровшихся сторон, и лишь восстание против Польши Малороссии и присоединение ее к Москве вновь доставило последней перевес в этой борьбе. Но наличие других опасных противников в лице Турции и Швеции заставляло ее, тем не менее, все увеличивать напряжение своих сил.

Так, первым результатом перемены в положении Московского государства было расширение арены его международной борьбы и увеличение опасности последней. Такое расширение, в свою очередь, повлекло за собою сближение московской политики с аналогичной ей политикой некоторых западноевропейских государств и усиление

дипломатических сношений. В XVII веке политический кругозор московских людей делается таким образом шире: Москва ведет борьбу с более значительными государствами и временами вовлекается в планы иных держав, государств западноевропейского мира, с которыми заключает союзы для совместных действий против общих врагов. То и другое обстоятельства, сами по себе еще не особенно важные, приобрели крайне серьезное значение, как скоро оказалось, что Московское государство, оставаясь при старых средствах, не в силах удовлетворить требованиям нового своего положения.

В самом деле, силы противников были настолько велики и настолько лучше организованы, что борьба с ними являлась для Московского государства чересчур тяжелой, несмотря на самое настойчивое напряжение сил народа в рамках старой системы, несмотря на доведение этой системы до ее последних крайностей. Московская армия, хотя и увеличенная в несколько раз, оказывалась неспособной устоять перед западными регулярными войсками; московская казна, невзирая на все увеличивавшиеся поборы, от года к году пустела, и государство видело себя вынужденным изыскивать новые средства борьбы. Такие средства имелись в руках иностранцев, как убедили в том враждебные и мирные сношения с ними, и в видах самосохранения государство прибегло теперь к заимствованию этих средств. Под влиянием осознанной нужды начались приглашения иностранцев на службу московского государя и поселение немалого количества их в Москве, результатом чего для московского общества явилось и некоторое знакомство с западноевропейской культурой.

По мере расширения такого знакомства в общество стали проникать и новые идеи. Это общество, так гордившееся своим превосходством, внезапно увидело себя в положении настолько затруднительном, что не могло выйти из него собственными силами и должно было обратиться к чужой помощи, к тем самым нечестивым иноземцам, которые занимали такое низкое место в его мнении. Уже одним этим наносился тяжелый удар взглядам, воспитавшимся на почве исключительного национализма, но он сделался еще чувствительнее, когда призванное на помощь иноземное влияние переступило те границы, какие были первоначально ему указаны. Пользуясь помощью иноземцев в деле развития военной техники, к которой вскоре присоединилась и промышленная, московское правительство, равно как и общество, вовсе не думало изменять своих общих взглядов на чужие земли. Но такое изменение являлось уже только вопросом времени после того, как пробита была первая брешь в стене национальной исключительности, преграждавшей раньше доступ всякому чуждому

влиянию. К половине XVII столетия число поселившихся в Москве иностранцев достигло весьма значительной цифры. Около этого же времени совершилось присоединение Малороссии – страны, которая, благодаря особым условиям своего существования под польским владычеством, успела развить у себя в значительных, сравнительно с Великороссией, размерах просвещение, сосредоточив его по преимуществу на религиозной почве. Служилые иноземцы – с одной стороны, малороссы – с другой, доставили московским людям богатый материал для сравнения их жизни с чужою, и выводы, какие явились из подобного сравнения, способны были поразить своею неожиданностью. Русские люди при сопоставлении себя с чужеземцами стали сперва смутно, потом все более и более отчетливо сознавать ту истину, которую давно уже повторяли наблюдавшие их жизнь иностранцы, но которая до сих пор была решительно чужда самому русскому обществу, именно, что оно страдает отсутствием настоящего образования. Перед этим обществом раскрывалась иная, неизвестная ему раньше жизнь, иной мир, и сравнение его с московским бытом порождало мысль о коренном различии между ними: один представлялся построенным на образованности, на науке, в другом последняя совершенно отсутствовала, так как “русские люди... в государстве своем научения никакого добраго не имеют и не приемлют”. Первый был богаче, сильнее, искуснее второго и манил к себе всеми наслаждениями, какие могла обещать высшая и более утонченная культура. С того момента, как сознание этого различия проникло в среду московского общества, мир последнего был нарушен. Оно увидало теперь необходимость в общении с другими народами подвергнуть проверке систему, созданную им в то время, когда народ впервые увидел себя заключенным в одно государство, и, как раньше его самосознание выработалось под влиянием отношений к соседям, так теперь изменение этих отношений повело к критике ранее выработанных формул.

Естественно, такая критика появилась не сразу. Ей предшествовали простые заимствования от иностранцев в области материального быта. Как государство стремилось перенять у иноземцев их военную и промышленную технику, так отдельные лица, по преимуществу из среды высшего класса, стали перенимать подробности домашней обстановки, ввозить к себе продукты европейской промышленности и искусства. Следом за этой первоначальной стадией заимствования неизбежно являлась, однако, и вторая, более сознательная, в виде пробуждения критического отношения к родной обстановке, в результате которого возникали неудовлетворенность старыми формами жизни и стремление

ближе ознакомиться с иноземной культурой, и с помощью ее исправить домашние непорядки. К половине XVII столетия в Москве было уже немало лиц, которые стремились к разнообразным заимствованиям от иноземцев, начиная с внешних форм и кончая не существовавшим на Руси светским образованием. Но на этот путь ступила только одна часть общества. Другая увидела в переменах, прокрадывавшихся в московский быт, начало измены извечным преданиям православия, и это побудило ее еще крепче ухватиться за эти предания, еще настойчивее пропагандировать их. Однако и эта часть общества под влиянием событий потеряла свое прежнее спокойно-горделивое настроение. Неудачи Московского государства и перемены, происходившие в русском быту, внушали ей тревожные опасения за будущее Москвы, еще недавно рисовавшееся в таком лучезарном свете. Для людей, отождествлявших Москву с третьим Римом и московский быт с православием, перемены этого быта знаменовали собою падение последнего центра правоверия и предвещали близкую кончину мира. Для того и другого назначались даже определенные сроки, и эти мрачные предсказания встречали большое внимание среди возбужденного общества. Между прочим, широкую популярность приобрело предсказание так называемой Кирилловой книги, составленной черниговским протопопом Михаилом Роговым. Согласно ее указаниям, сатана был связан на 1000 лет после Рождества Христова и это была лучшая эпоха в истории церкви; после нее совершилось отпадение римской церкви в латинство, через 600 лет Западная Русь отпала в унию, а через 60 лет той же судьбы должна была остерегаться Русь Восточная.

Таким образом, ближайшим результатом сближения с иноземцами, вызванного нуждами государства, явилось разделение общества на враждебные партии. С какого бы пункта ни начиналась эта вражда, она неизбежно приводила противников на почву церковных порядков, так как весь государственный и общественный быт Москвы, до мельчайших его подробностей, в сознании людей той эпохи проникался и освящался религиозным принципом. Развитие государственной жизни подготовило борьбу среди московского общества и определило ее поприще. Дело стало за борцами, и они не замедлили явиться.

ГЛАВА II. ЖИЗНЬ АВВАКУМА ДО ПЕРВОЙ ССЫЛКИ

Около 1620 года у священника села Григорова, за рекой Кудмой, в нынешнем Княгининском уезде Нижегородской губернии, родился сын, названный Аввакумом. О годах его детства и ранней юности мы знаем очень немного, да и то, что знаем, сохранил нам лишь сам он в своей автобиографии, известной под именем “Жития протопопа Аввакума”. Тем не менее, и в этих скудных сведениях можно найти кое-какие характерные черты, бросающие хоть некоторый свет на те условия, при которых ребенок сложился и вырос в мужа, и на тот путь, каким шло развитие его ума и характера.

Отец Аввакума, григоровский священник Петр, страдал пороком пьянства “прилежаше пития хмельнаго”, как выражался о нем впоследствии сын. Мать последнего, по имени Мария, напротив, была “постница и молитвенница” и по смерти мужа постриглась даже в монахини. Так уже в семейной обстановке Аввакума соединились два противоположных начала, существовавшие рядом в русской жизни того времени, несмотря на взаимную враждебность, – нравственная распушенность и строгое обрядовое благочестие, граничившее с аскетизмом. Насколько и как именно уживались две такие несходные натуры в семейной жизни, остается неизвестным, но во всяком случае, это существование двух резко расходящихся влияний не могло не отразиться заметно на ребенке. С ранних лет должно было оно развивать и повышать в последнем нервность, вызывая интерес к таким вопросам, которые оставались чуждыми для большинства его сверстников. Противопоставления небесного земному, загробного мира здешнему рано предстали перед молодым умом в устах близких людей и приковали к себе его внимание. При установившемся уже настроении, при развившейся чуткости к вопросам этого рода достаточно было самого простого, по-видимому, случая, чтобы закрепить то и другое и сделать их господствующими чертами характера, и такой случай, конечно, не замедлил представиться. Пришлось раз мальчику увидеть на дворе у соседа смерть какой-то скотины; на юный ум, подготовленный частыми толками окружающих о человеческой жизни и смерти, эта реальная картина смерти произвела удручающее и решительное впечатление: представление об

ужасе и неизбежности смерти, о ежеминутной возможности гибели неизгладимыми чертами запечатлелось в нем, и ночью ребенок, поднявшись с постели, с плачем начал молиться перед образом “о душе своей, поминая смерть”. С той поры и до конца жизни он не оставлял уже обычая тайной ночной молитвы.

Первые же впечатления сознательной жизни ребенка направляли таким образом его мысли и интересы в определенную сторону. Полное решение возникавших отсюда вопросов возможно было, однако, лишь в более широкой сфере, и Аввакум нашел ее со временем в книгах, в занятиях чтением. Как шли эти занятия, мы опять-таки не знаем и можем судить о них лишь по их результатам. Впоследствии, выступая в роли проповедника, Аввакум обнаруживал весьма значительную для своего времени начитанность. Ему были хорошо знакомы не только все книги св. Писания, переведенные на славянский язык, не только циркулировавшие в России творения отцов церкви, но и многие апокрифические сказания. Равным образом хорошо знал он и цикл чисто русских сказаний и повестей, как повесть о белом клобуке, сказание о трех Римах и т. п. Можно сказать, что ему была известна почти вся тогдашняя литература, доступная для русского грамотного человека. В ее произведениях, сплошь проникнутых религиозными и националистическими идеями, полных смиренного отречения от земных благ и горячего мистического увлечения, живо рисовавших борьбу веры с соблазнами мира, юный читатель почерпал теоретические обобщения знакомых ему фактов жизни, находил указания для своей деятельности, и постепенно из него складывался исповедник сурового нравственного ригоризма, соединенного с монашеским аскетизмом, с презрением к миру и его слабостям. Мысль о подвижнической жизни, направленной к спасению от греха, стала преобладающей в душе юноши, но, полный молодых сил, он готовился не к бегству от мира, а к деятельной борьбе с его соблазнами.

Между тем годы юности проходили, и мать Аввакума, тем временем овдовевшая, задумала женить сына. Покорный воле матери юноша только молился Богородице, чтобы она дала ему жену “помощницу ко спасению”. Выбор матери пал на одну сироту из того же села, привлекающую к себе ее внимание своею набожностью и частым посещением церкви. Со своей стороны Анастасия – так звали девушку – давно уже втайне любила Аввакума, и счастье его семейной жизни было, таким образом, обеспечено. В жене он нашел себе действительно помощницу, женщину, усвоившую себе его мировоззрение и связанную с ним узами горячей привязанности, которая помогала ей переносить безропотно все невзгоды, постигавшие их

в жизни. Эти невзгоды должны были начаться уже очень скоро.

Мать Аввакума умерла вскоре после брака сына, а сам он вступил на ту дорогу, которую указывало ему и происхождение, и – в гораздо большей степени – собственное его настроение. Переселившись из родного села, где, по-видимому, односельчане недолюбливали его, в село Лопатицы (ныне Макарьевского уезда), он, двадцати одного года от роду, был поставлен в дьяконы, а через два года – и в священники. Перед ним открывалась теперь возможность деятельности в качестве признанного учителя народа, и он с жаром схватился за нее. В нем самом не было, к тому же, распространенных в среде тогдашнего русского духовенства недостатков, которые могли бы уронить в глазах массы его учительский авторитет. Строго относясь к себе, Аввакум с беспощадною суровостью карал свою плоть за всякое проявление слабости, за малейшее отступление от требований духа. Случилось раз, что пришла к нему на исповедь “девица, многими грехами обременена”, и с плачем каялась в своих прегрешениях. Красота ее тронула сердце молодого исповедника, и он с ужасом почувствовал, что он, “треокаянный врач, сам разболелся”, что греховное желание охватило его. Тогда он зажег три свечи и, прилепив их к аналою, положил правую руку на пламя, и держал, пока взбунтовавшаяся плоть не усмирилась. Отпустив затем девушку, пошел он домой и там с горькими слезами долго молился Богу, чтобы позволено было ему снять с себя принятое звание, “понеже бремя тяжко, неудобь носимо”. Только видение, посетившее его, когда он, истомленный, забылся сном, лежа перед образом, успокоило его. При таком понимании своей обязанности он являлся настоящим учителем, словом и делом проповедующим свои взгляды и не отступающим от преподаваемого учения. Строго выполнял он свое призвание, как понимал его, с неослабной ревностью наставлял и поучал своих духовных детей, с мелочной, буквальной точностью исправлял все обряды церковнослужения. В то время многие священники усвоили обычай многогласия в служении: чтобы сократить церковную службу и в то же время ничего не выпустить из нее, ее совершали в несколько голосов, так что дьячок читал кафизмы в то самое время, как диакон провозглашал ектению, а священник делал возгласы, и все это вместе с пением хора сливалось в неясный шум, совершенно непонятный для молящихся. Аввакум не последовал этому обычаю и совершал службу медленно, по уставу. Но церковным служением не ограничивал он круга своей деятельности. С теми же требованиями чистой, нравственной жизни, какие он предъявлял к самому себе, он обращался и к другим, и прежде всего к своим прихожанам.

Среди последних его деятельность вызывала неодинаковое отношение. Одни готовы были видеть в молодом священнике настоящего пастыря и приписывали ему всю ту силу, которая соединялась тогда с этим понятием: к нему приводили бесноватых, прося исцелить их, и он держал их в своем доме, леча молитвой и освященным маслом. “И сила Божия, – прибавляет Аввакум, рассказывая об этом, – отгоняше от человека бесы и здрави бываху”. Но людей, которые подчинились сразу духовному авторитету священника, было меньшинство. Большинство же возмущалось теми суровыми требованиями, какие ставил Аввакум, и не прочь было протестовать против них. Такой протест еще облегчался тем обстоятельством, что Аввакум, преследуя цели внесения благочиния в духовную жизнь своей паствы, не останавливался ни перед чем и не способен был жертвовать тем, что считал истиной, случайным обстоятельствам и отдельным людям. Какой-то “начальник” отнял раз дочь у вдовы; Аввакум вступился и начал увещевать его возвратить девушку матери. Начальник, вознегодовав на такое вмешательство в его дела, возмутил против Аввакума прихожан, толпа которых напала после этого на своего священника у церкви и избивала почти до смерти, так что он едва пришел в себя. Но и это не утишило его ревности, и он продолжал свои настояния, пока начальник не отдал девушки. Впрочем, через несколько времени последний, должно быть, раскаялся в этом: придя в церковь, он сам уже избил Аввакума и в ризах волочил его за ноги по земле. Неспособность подчинять свои взгляды желаниям прихожан причиняла Аввакуму хлопоты и в другом вопросе. Прихожане требовали, чтобы он служил в церкви скорее, а он не считал себя вправе исполнить это, и новые столкновения между священником и приходом не заставили себя ждать. Начальник, на этот раз уже другой, рассерженный неуступчивостью Аввакума, прибежал к нему на дом, бил его и руку изгрыз зубами, потом покушался даже застрелить его. Пока дело ограничивалось побоями и бранью, стойкий священник, уверенный в правоте своего подвига, отвечал на них благословениями и полным достоинства смирением. Но вскоре эти гонения приняли и более серьезный для него оборот: видя, что Аввакума нельзя заставить подчиниться, начальник, его избивший, прибег к более радикальным мерам. Он отнял у него двор и все имущество и выгнал из села, не дав даже хлеба на дорогу. Как раз перед тем у Аввакума родился сын, и теперь он с женой и некрещеным младенцем побрел в Москву – искать защиты у мирских властей, так как иначе для него закрывалась возможность продолжать только что начатую деятельность.

По некоторым известиям, Аввакуму и раньше уже приходилось бывать

в Москве по делам, так как приход его принадлежал к патриаршему округу, и во время этих посещений столицы он успел познакомиться и сблизиться с двумя людьми, занимавшими видное положение среди московского духовенства, – царским духовником Стефаном Вонифатьевым и протопопом Казанского собора Иваном Нероновым. Во всяком случае, состоялось ли это знакомство ранее или только теперь, эти два лица приняли участие в выгнанном из своего прихода священнике. Они познакомили его с царем Алексеем Михайловичем и выхлопотали для него царскую грамоту, утверждавшую его в сане приходского священника в Лопатицах. С этою грамотою отправился он обратно и водворился в своем приходе, получив возможность продолжать свою деятельность с большей уверенностью, чем прежде. Скоро представился ему и случай обнаружить свое рвение к установлению благочестия и свой непреклонный ригоризм еще с новой стороны. Зашли как-то в Лопатицы вожаки медведей со скоморохами. Аввакум горячо восстал против этого развлечения, не соответствующего его аскетическому идеалу христианской жизни, и, не довольствуясь увещаниями, “по Христе ревнуя”, попросту выгнал из села медвежатников и скоморохов, изломал их шутовские маски, бубны и домры, отнял медведей и пустил их в поле. В это время плыл мимо Лопатиц по Волге боярин В. П. Шереметев, направляясь в Казань на воеводство. Огорченные жители пожаловались на самоуправство своего священника боярину, и последний призвал его к себе на судно. Долго и много бранил Аввакума Шереметев и под конец беседы, проникшись ли уважением к стойкости священника или просто по обычаю, просил благословить сына своего. Но последнего коснулись уже новшества, проникшие в русскую землю: он был обрит, и Аввакум, увидав такой “блудолюбивый образ”, не только отказался благословить его, но еще и “от Писания его порицал”, так что всплывший Шереметев приказал было бросить его в Волгу. В реку священника, правда, не бросили, но проводили с судна побоями.

Наконец строгие требования Аввакума в связи с его деспотическими замашками сделали совершенно невозможными мир и согласие между ним и его прихожанами. Последние решительно восстали против своего пастыря и заставили его удалиться из прихода. Опять отправился Аввакум в Москву и на этот раз, по ходатайству друзей, был назначен протопопом в Юрьевец-Повольский. Но недолго пришлось ему прожить и в новом месте. Его строгие правила, суровые обличения, стремление всех подчинить своей воле во имя идеала правоверной жизни восстановили против него не только мирян, но и духовенство, над которым он был непосредственным

начальником и которое поэтому более всех могло испытывать на себе тяжесть его власти. Уже через восемь недель в городе вспыхнуло целое возмущение против протопопа: до полутора тысяч человек, мужчины с батогами, бабы с рычагами, собралось к патриаршему приказу, где Аввакум занят был духовными делами. Сурового протопопа вытащили на улицу, били чем попало до того, что он потерял сознание, и убили бы на месте, если бы не прибежал на выручку воевода с пушкарями. Едва на лошади умчали Аввакума от разъяренной толпы в его двор, и к последнему пришлось приставить стражу из пушкарей же, чтобы охранить протопопа от покушений на его жизнь. Два дня лежал он, оправляясь от последствий тяжких побоев, и все это время в городе царило смятение: народ, наущаемый попами, волновался, и на улицах раздавались бешеные крики: “убить его, да и тело собакам в ров кинуть”. На третий день ночью Аввакум тайно бежал из Юрьевца, оставив там жену и детей, и направился в Москву. По дороге зашел он в Кострому, где рассчитывал найти своего знакомого и приятеля, протопопа Даниила, но, придя туда, узнал, что и Даниила постигла такая же участь, как его: за несколько времени перед тем его также изгнали прихожане, и он бежал в Москву. Аввакуму оставалось только продолжать свой путь туда же. Прибыв в столицу, он явился к царскому духовнику, но как этот последний, так и сам царь остались сперва недовольны бегством его из Юрьевца. Вскоре, однако, неудовольствие это сгладилось и забылось; Аввакум остался в Москве и еще теснее и ближе сошелся со здешними своими приятелями.

Только что рассказанные события происходили в 1651 году. Со времени поставления в священники восемь лет провел Аввакум в попытках осуществления своих взглядов и идеалов на практике, во всей их полноте и цельности. Восемь лет прошло в упорной борьбе проповедника благочестия и аскетической морали, сурового ригориста, стремившегося переделать мир по-своему, с окружающими, – борьбе, не принесшей, по видимому, никаких результатов, кроме ряда поражений. Но это не пугало и не изменяло его: он смотрел на такую борьбу как на неизбежный подвиг, и она только закаляла его характер, сообщая ему новые силы и энергию. Между тем с окончательным переездом в Москву течение жизни Аввакума повернуло в иное, более глубокое русло: и окружившая здесь Аввакума духовная атмосфера, и личная его деятельность были уже не совсем те, что прежде.

Столичные приятели Аввакума составляли видный и влиятельный среди московского духовенства кружок, группировавшийся около двух знакомых уже нам лиц – Стефана Вонифатьева и Ивана Неронова.

Духовник “тишайшего и благовернейшего” царя Алексея Михайловича Вонифатьев славился своим благочестием и ревностью по вере и был известен как человек строгой жизни. Сурово смотрел он на распущенность многих мирян, которой часто подражали и духовные лица, склонен был видеть причину таких явлений в новшествах, в отступлении от старины и, будучи большим знатоком церковного устава, от всех, в том числе и от самого царя, у которого он пользовался немалым расположением, требовал неуклонного соблюдения обрядового благочестия. Его друг, протопоп Неронов, был человеком такого же закала: такой же знаток и ревнитель церковной обрядности, такой же горячий проповедник нравственной жизни и строгого благочестия, он пользовался среди окружавших его лиц весьма значительным авторитетом. Недаром его духовные дети называли его “вышестественным, равноапостольным, по церкви Христове крепким поборником”. Оба друга были, по московским понятиям, людьми образованными: им хорошо знакома была современная им русская литература, конечно, церковная, и сами они не чуждались литературных занятий. В церковной жизни своего времени они замечали неурядки и неурядиства и подумывали об их исправлении. Но при этом основную причину всякого рода неурядков они склонны были усматривать исключительно в уклонениях от обрядовой старины, не будучи в состоянии возвыситься до более широких обобщений. Саму старину, ими отстаиваемую, они находили лишь на русской почве; перейти на какую-либо другую им не позволяло и ограниченное сравнительно образование, и узость их идейного кругозора, замкнутого в пределах так распространенных в то время мыслей об исключительном правоверии Московского государства. Словом, по своим взглядам и симпатиям они примыкали к недавно еще безраздельно господствовавшей церковно-националистической партии, составляя в то же время цвет ее по своим умственным способностям и нравственным силам. Это последнее обстоятельство и помогло им собрать около себя целый кружок лиц, разделявших их воззрения и готовых действовать в духе проповедуемых ими идей. Тут были и костромской протопоп Даниил, и муромский протопоп Лонгин, и ученый диакон московского Благовещенского собора Федор, и попы: романовский Лазарь и суздальский Никита. Среди этих лиц, в большинстве выходцев из провинции, по преимуществу же из Нижегородской области, не было людей, которые могли бы похвалиться сколько-нибудь глубоким образованием, но все они были исполнены фанатической ревностью к вере. Связанные между собою убеждением, что истинная вера сохранилась только в Московской Руси, они смотрели на

Вонифатьева и Неронова, особенно же на последнего, как на своих руководителей и наставников, призванных соблюсти чистоту русской церкви и укрепить ее правоверие путем возвращения к древней обрядовой строгости. Влияние Вонифатьева и Неронова распространялось, однако, не только на круги одинакового по положению с ними духовенства и их паствы, оно шло и дальше, равно проникая в высшую светскую и духовную иерархию. Царь Алексей Михайлович, высоко ставивший в людях набожность и благочестие, лично знал главнейших членов кружка Неронова и ценил эти их достоинства. Благодаря этому и патриарх Иосиф, хотя и не вполне охотно, все же в известной мере считался с их авторитетом и даже вынужден был в значительной степени следовать их указаниям в церковных делах. Таким образом, в то время, когда Аввакум из Юрьевца явился в Москву, кружок протопопов пользовался здесь сильным влиянием, основывая его как на личном расположении к главным своим представителям со стороны царя, так и на своем умственном и нравственном превосходстве над остальным духовенством. Дружбы этого кружка заискивали даже очень сильные люди. Сам митрополит новгородский Никон, в котором уже тогда прозревали будущего патриарха, дружил с протопопами и разделял их взгляды. Подобно им, он считал в ту пору Московскую Русь хранилищем истинного благочестия и ставил под сомнение правоверие греческого Востока: “гречане, – говаривал он в дружеских беседах с московскими протопопами, – потеряли веру, и крепости и добрых нравов нет у них, своим чревам работают и постоянства в них не объявилось, и благочестия нимало”. Подобно другим членам кружка, и он мечтал тогда лишь о таких частных исправлениях церковных неустройств, которые не сходили бы с почвы русской старины.

К этому-то тесно сплоченному кружку примкнул и Аввакум, явившись из Юрьевца. С членами его он ранее был уже знаком и находился в тесных приятельских отношениях; и его связывали с ними общность взглядов и убеждений, один и тот же умственный кругозор, но помимо того, у него установилась с Нероновым и Вонифатьевым еще и такая глубокая дружба, какой не было у этих лиц с Никоном. В свою очередь, Аввакум внес в кружок присущую ему самому страстность и энергию, готовность к решительным мерам и действиям. На первых порах, впрочем, он заслонялся личностью Неронова, фактического главы кружка, и даже занял положение как бы помощника его. Не имея собственного прихода и продолжая номинально считаться юрьевецким протопопом, он постоянно находился при Казанском соборе, заменял Неронова в церковнослужении во время его отлучек, читал народу священные книги и поучения. Такого

рода деятельность настолько его удовлетворяла, что он не хотел променять ее на место, хотя бы более видное и почетное, но дававшее меньше случаев общения с народом, и не польстился даже на место в дворцовой церкви Спаса за Золотой решеткой, которое ему предлагали. С дворцом, впрочем, у него тоже были тесные отношения: сам царь часто беседовал с ним и душевно привязался к протопопу, привлекая его своим строгим подвижничеством, огненными речами и богатым запасом сердечной нежности, скрывавшейся под суровой оболочкой аскета. Много лет позднее, находясь совсем в другой обстановке, Аввакум с умилением вспоминал, как благодушный царь, наделяя духовных лиц яйцами на Пасху, не забывал и про его малолетнего сына. И наверху, в тереме царицы, знали Аввакума и заслушивались его поучений; к тому же, по его просьбе, Вонифатьев устроил двух его братьев на службе у одной из царевен, а одного, Герасима, поместил священником при себе в дворцовой церкви. Собственную семью протопоп также перевез со временем в Москву и окончательно устроился здесь своим домом.

Дом этот и в Москве сохранил те же устои, что прежде в Лопатицах. Личная жизнь Аввакума и теперь оставалась тем же непрерывным молитвенным подвигом, слабое понятие о котором может дать следующий пример. Ежедневно, после вечерни, поужинав и собираясь отходить ко сну, протопоп совершал “правило”, состоявшее из целого ряда молитв, сопровождаемых земными поклонами. Окончив это правило и потушив огонь, он вновь становился на молитву и уже впотьмах совершал “300 поклонов, 600 молитв Исусовых, да 100 Богородице”; жена его, молясь с ним вместе, полагала 200 поклонов и произносила 400 молитв. Строгий образ жизни, резкие поучения и в Москве создали Аввакуму репутацию священника строгой нравственности, и в результате к нему стали приводить на исцеление так называемых бесноватых – название, под которым обобщалось много различных болезней, начиная с острых расстройств нервной системы и кончая сумасшествием. Иногда по несколько этих несчастных одновременно жили в доме протопопы, который лечил их молитвой и святой водой, а в экстренных случаях и “смирлял” побоями. Но все эти занятия далеко не поглощали теперь всецело его времени и вскоре отступили даже на задний план перед более важными.

Время переселения Аввакума в Москву как раз совпало с началом серьезного выступления Неронова и его приятелей на почве исправления церковной жизни. Собственно, уже сама рассылка некоторых членов кружка на протопопии в провинциальные города была своего рода попыткой пропаганды взглядов кружка, но эта попытка не имела большого

успеха. Ее неудача не ослабила, однако же, энергии кружка и не подорвала его деятельности в самой Москве. Напротив, она, по-видимому, лишь усилила его рвение к исправлению церковных неустройств и, в частности, чина церковной службы. Особенно резко выступал в этом случае Неронов: он не только сам служил единогласно, но и других всячески увещевал к тому же. Деятельную поддержку нашел он у Никона, который у себя в Новгороде завел единогласное служение и партесное пение и, приезжая в Москву со своими выписанными из Киева певчими, служил в присутствии царя именно так, как этого требовали протопопы. Зато против последних восстало низшее московское духовенство, которое увидало в единогласии новшество, нарушающее древний чин службы, а следовательно, посягающее и на правоверие. Такое отождествление обряда с верой ярко выступило в страстных жалобах московских попов на Неронова. Один из наиболее ревностных защитников многогласия, не успев в своих доводах в его пользу, предлагал для решения спора бросить жребий с Нероновым: “и буде его вера права, и он и все учнутъ петь и говорить”, как того требует Неронов. Не менее резкие нападки вызывал и вводившийся Нероновым с товарищами обычай говорить проповеди в церкви. “Заводите вы, ханжи, – говорили попы, – ересь новую – единогласное пение и людей в церкви учите, а мы людей преж сего в церкви не учили, а учивали их втайне”. Сам патриарх Иосиф, по-видимому, впрочем, не столько по убеждению, сколько в силу личных отношений, был против действий протопопов, и лишь дружными усилиями последних, поддержанных новгородским митрополитом и царем, удалось одержать победу в этом вопросе. В данном случае Неронов и его товарищи выступили, таким образом, на путь восстановления обрядовой чистоты церковнослужения, устраняя вошедшие в него с течением времени искажения. Но на этом пути они скоро встретились с людьми, заставившими их занять совершенно иную позицию.

Еще в 1649 году боярин Ртищев пригласил в устроенный им в Москве Андреевский монастырь несколько ученых иноков из Киева, во главе которых стоял Епифаний Славинецкий, “в философии и богословии изящный дидакал и искуснейший в еллиногреческом и славенском диалектах”. Приехавши в Москву, киевские монахи немедленно открыли здесь школу при Андреевском монастыре, в которую стараниями того же Ртищева собраны были ученики. Уже само существование этой школы шло вразрез с установившимися московскими преданиями: в ней преподавали “еллинскую мудрость” – греческий язык, латынь, риторику, все науки, незнакомые в Москве, чуждые ее педагогическому обиходу. Перед ними

совершенно ступшеывалась и бледнела доморощенная мудрость московских протопопов, еще недавно столь гордых своим авторитетом.

Преподаванием новых наук не ограничилась к тому же деятельность приезжих ученых. Приглядевшись к московским церковным порядкам, они стали указывать в них множество неправильностей и ошибок, объясняя их невежеством великорусского духовенства и противопоставляя ему духовных малорусских и греческих, причем последние равным образом поддерживали их доказательства. Сами киевские старцы действительно держались не тех обычаев, что москвичи: крестились они тремя пальцами, многие молитвы читали и пели иначе, русские церковные книги называли исполненными ошибок и во всем этом ссылались на авторитет церкви греческой и малорусской, из которых последняя для многих москвичей представлялась равносильной польской, на греческие и латинские книги. От приезжих иноков все громче слышались речи об отступлении русской церкви от православных обрядов, от чистой веры, и эти речи заставляли серьезно призадумываться всех тех, до чьих ушей они доходили. Прежде всего, конечно, это влияние новых учителей должно было коснуться тех молодых людей, которые были поручены им в науку и посещали их школу. Действие, произведенное на них взглядами и преподаванием их наставников, было далеко не одинаково. Одни увлеклись новыми знаниями, открывшимися перед ними, и, решительно отвернувшись от доморощенных авторитетов, стали со слов своих преподавателей повторять, что протопопы Вонифатьев и Неронов “враки вракают, слушать у них нечего, учат просто, сами ничего не знают, чему учат”. Но так взглянула на дело только часть молодежи. Другие, напротив, говорили, что киевские монахи “старцы недобрые и доброго ученья у них нет”; в учении киевлян эти недовольные видели только опасную ересь, погибель для души: “кто по латыни научился, тот с правого пути совратился”, – говорили они между собою и тайком извещали протопопов, что только неволя заставляет их учиться у киевских старцев, а на деле они этого ученья знать не хотят. Таким образом, уже с самого начала своей деятельности в Москве малорусские монахи встали в резкий антагонизм с кружком великоименитых протопопов, и обе стороны взглянули друг на друга как на врагов. Такое отношение двух кружков, из которых каждый думал заботиться о преобразовании церковных порядков в смысле возвращения их к старине, не заключало в себе никакого недоразумения; оно совершенно естественно и неизбежно вытекало из различия основных принципов их деятельности. Все дело было в том, что в этих кружках речь шла о совершенно различной старине. Тогда как ученые малороссы

ставили идеалом старину вселенскую и с нею сравнивали современную московскую действительность, протопопы говорили о старине московской, которую они отождествляли со вселенской, находя ее к тому же, за отсутствием больших исторических сведений, в очень недалеком прошлом, а современную им практику всех других православных церквей подозревали в еретичестве. Из этого основного различия в понимании цели вытекало далее и различие средств. Малороссы считали неизбежным ознакомление с западной наукой; московские протопопы отворачивались от нее с отвращением и искали опоры в одной вере; одни убеждали в необходимости исторического изучения запутавшихся вопросов церковной обрядности и привлечения для их решения опыта вселенской православной церкви, другие считали возможным довольствоваться своими личными воспоминаниями и своей домашней литературой, отрицая опыт иных церквей как неправовверных и противопоставляя их практике свою. При таком различии взглядов и положений враждебные отношения между двумя кружками были неминуемы. Широкая программа очищения обрядов русской церкви, представленная киевскими учеными, заставила кружок Вонифатьева и Неронова принять оборонительное положение, и в ответ на упреки в невежестве слышались обвинения в ереси. Среди московского духовенства поднимался все более резкий ропот против новшеств, вводимых приезжими “хохлами”. Обе стороны готовились помериться силами и ждали начала борьбы.

Пока жив был слабый патриарх Иосиф, Неронов и Вонифатьев с товарищами чувствовали силу на своей стороне. Но 15 апреля 1652 года Иосиф умер. В сущности, вопроса о личности нового кандидата на патриарший престол не могло и возникнуть, так как он всецело разрешался всем известною любовью царя к Никону. Однако кружок Неронова сделал, кажется, попытку выставить кандидатуру человека, которого он мог бы с полной и безусловной уверенностью считать своим, именно протопопа Стефана Вонифатьева. Правда, рассказ Аввакума, от которого мы только и имеем сведения об этой попытке, несколько спутан: в одном месте он говорит, что Неронов с приятелями, в том числе и сам он, вместе с казанским митрополитом Корнилием, подали царю челобитную с просьбой назначить патриархом Вонифатьева, но последний сам отказался от этой чести и указал на Никона; в другом месте Аввакум рассказывает, что протопопы, и сам он в числе их, прямо просили о назначении патриархом Никона и были непосредственными виновниками этого назначения. Трудно сказать, которая из этих двух версий справедливее, но общий смысл их обеих соответствует действительному положению вещей, если только

принять некоторые необходимые ограничения. Протопопы не были прямыми виновниками возведения Никона в сан патриарха, так как намерения Алексея Михайловича на этот счет уже вполне сложились без их участия, но, зная эти намерения, они, в полном ли своем составе или в лице Вонифатьева, могли и со своей стороны указать на Никона, рассчитывая таким способом действий обеспечить себе благодарность со стороны будущего главы русской церкви. Тем легче могли они это сделать, что Никон, хотя и не связанный с ними тесными узами личной дружбы, был для них все-таки в известной мере своим человеком, теми же глазами, как и они, смотревшим на русскую церковную жизнь, мечтавшим об исправлениях ее в том же духе и направлении. Поэтому протопопы и их друзья могли рассчитывать и в патриаршество Никона удержать ту власть и влияние в церковных делах, какими они пользовались раньше. Если патриарх Иосиф подчинялся им, то от Никона они могли ждать, что он будет действовать совместно с ними во имя общей их цели и, идя по одной с ними дороге, не захочет лишиться себя их поддержки.

Но на деле эти ожидания не оправдались. Крутой, самолюбивый и самовластный Никон менее всего способен был кому-либо подчиниться. Сознывая за собою сильную поддержку царя, он мечтал сам начать и вести дело церковных исправлений. К тому же в нем зародилось и сомнение насчет справедливости тех взглядов, которые он еще недавно разделял с московскими протопопами. Беседы с приезжими в Москву греческими иерархами и собственное знакомство с русскими церковными древностями убедили его, что некоторые московские обычаи сами представляют новшество в церковной жизни, противное и русской старине, и современной вселенской практике, а отсюда невольно уже появлялось сомнение, действительно ли эта последняя заражена такими ересями, как это думали на Руси, и не представляет ли она скорее источника, к которому следует обратиться ради восстановления истинного правоверия. Для непосредственной и страстной природы Никона этого сомнения оказалось достаточно, чтобы решительно толкнуть его на другой путь. Сделавшись патриархом, он уже не с полным доверием смотрел на деятельность лиц, окружавших Неронова и Вонифатьева. Он стал прислушиваться и к другим голосам, раздававшимся из кружка малороссов, ближе сошелся с Епифанием Славинецким и скоро окончательно перешел на сторону киевских ученых, решив привлечь к делу церковного исправления опыт иных церквей. С этой минуты в его руках само дело исправления церковных обрядов приблизилось к их реформе. Это изменение программы повлекло за собою и соответственное изменение способа действий

патриарха: начатое при Иосифе дело исправления церковных книг было поставлено на новых основаниях, иосифовские справщики книг, набранные из русского духовенства, были удалены от должности, а на их место назначен начальником печатного двора Славинецкий, вокруг которого собрана была комиссия из ученых киевских монахов.

В таких действиях патриарха протопопы должны были увидеть личную измену прежнего приятеля, но вместе с тем, эта измена приобретала для них особенное значение благодаря той почве, на которой она совершилась. Патриарх предпочел чуждую науку русскому правоверию, сошелся с еретиками, которых сам прежде хулил; очевидно, он готовится внести ересь в русскую церковь. Такое впечатление породили действия Никона в его бывших приятелях и единомышленниках, и они с враждебной подозрительностью смотрели на патриарха, готовясь увидеть в его дальнейших распоряжениях признаки еретической новизны. Ожидания не замедлили оправдаться.

Великим постом 1653 года Никон разослал по церквам указ не творить земных поклонов в четырехдесятницу, исключая лишь четырех больших при чтении молитвы Ефрема Сирина, и креститься тремя перстами, а не двумя. Для подозрительно и враждебно настроенного кружка Неронова этот указ явился началом ожидавшейся “еретической зимы”. “Мы же задумались, сошедшиеся между собою, – рассказывал впоследствии Аввакум, – видим, яко зима хочет быти: сердце озябло и ноги задрожали. Неронов мне приказал церковь, а сам один сокрылся в Чудов, – седмицу в палатке молился. И там ему от образа глас бысть во время молитвы: время приспе страдания! Подобаает вам неослабно страдати!” Сильный ропот поднялся среди всего кружка Неронова. Аввакум и Даниил задумали выступить с протестом и, составив “выписку” о поклонах и о крестном знаменнии, подали ее Алексею Михайловичу. Этот шаг не имел последствий, но и протопопы решили не подчиняться распоряжениям патриарха и, не стесняясь, громко осуждали их. Между двумя партиями завязывалась решительная борьба, и как характеры лиц, принявших в ней участие, так и глубокое различие борющихся сторон должны были сделать ее упорной и ожесточенной.

Никон был не таким человеком, чтобы оставить без ответа брошенный ему вызов на борьбу и смиренно проглотить оскорбление. Решив показать противникам свою власть, он выжидал для этого только удобного случая, который скоро ему и представился. В июне того же года пришел от муромского воеводы донос на тамошнего протопопа Лонгина, будто он хулит иконы и лик Спасов. Обвинение было вздорное, но оно пригодилось

Никону, и он, распорядившись отдать Лонгина за “жестокое пристава”, созвал для суда над ним собор из низших духовных властей – архимандритов, игуменов и протопопов. На этом соборе разразилось уже открытое столкновение между патриархом и Нероновым с товарищами. Последние горячо вступились за Лонгина, доказывая, что Никон не имел права подвергать его такому тяжелому наказанию, особенно до полного расследования дела. Всех ревностнее выступил на защиту муромского протопопа сам Неронов, который попутно подверг резкой критике все действия патриарха. “Прежде сего, – говорил он Никону, – ты имел совет с протопопом Стефаном (Вонифатьевым), и на дом ты к протопопу Стефану часто приезжал, и о всяком деле советовал, когда ты был в игуменах, в архимандритах и в митрополитах, и которые боголюбцы посланы государем блаженныя памяти к патриарху Иосифу, чтобы ему поставить по его государеву совету оных в митрополиты и в архиепископы и епископы, иных в архимандриты, игумены и протопопы, а с государевым духовником Стефаном ты тогда был в советех, и не прекословил нигде, и на поставлении их не говорил: анаксиос, а ныне у тебя те же люди недостойны стали, и протопоп Стефан за что тебе враг стал? Везде ты его поносишь и укоряешь, а друзей его разоряешь, протопопов и попов с женами и детьми разлучаешь: доселе ты друг нам был, а ныне на нас восстал”. По словам раздраженного протопопа, Никон всему верил, в чем бы ни обвиняли их друзей, повторяя, “так-де они делают, такие-де нечестивые, а Стефан-де протопоп и Иоанн им ворами потакают”... При всем преобладании в этой критике личных мотивов, за ними слышался и более общий протест, направленный не против каких-либо отдельных действий Никона, а против всей принятой им системы, против замены благоверных московских людей “иностранными иноками, ересей вводителами”, и такой протест не мог быть удовлетворен частичными уступками.

Но Никон, в свою очередь, и не думал об уступках. Раз решив смирить непокорных силою своей власти, он уже не отступал от избранного плана, и по мере того, как протест разгорался и в нем принимали участие новые лица, на их головы обрушивались жестокие кары, направляемые рукой патриарха. Неронов первый поплатился за свою смелость: сперва он лишен был скуфьи и заточен в Симонов монастырь, а затем, 4 августа 1653 года, отправлен в Вологду, в Спасокаменный монастырь. Его приверженцы решились попытать еще средство отстоять своего вождя и вместе спасти от гибели свое дело и с этой целью подали царю челобитную о возвращении Неронова из ссылки, написанную протопопом Аввакумом. Последний в этот момент вообще выдвигается вперед и даже пытается после удаления

Неронова руководить деятельностью всего кружка: его пламенная энергия, горячее убеждение в правоте защищаемого дела и способность умелой пропаганды вместе с готовностью идти до последней крайности в значительной степени оправдывали такие притязания, выделяя его из среды товарищей по кружку.

Далеко не все члены кружка и сторонники Неронова склонны были, однако, признать Аввакума своим вождем. В глазах некоторых из них начало гонения на кружок протопопов явилось преддверием предсказанного в Кирилловой книге отпадения русской церкви от правоверия, но у других еще преобладало примирительное настроение и нежелание доходить до безусловного разрыва с главой русской церкви, к чему явно вел протопоп. Попы Казанского собора, где он заменил было Неронова, решительно отказались признать его главенство, будучи особенно недовольны тем, что он в своих поучениях народу “много лишнего говорил”, крайне резко нападая на распоряжения церковных властей, и предложили ему служить в соборе по очереди, на правах товарищества. Напрасно Аввакум ссылаясь на свой сан протопопа и на то, что ему Неронов, уезжая, поручил церковь; попы отвечали, что протопоп он в Юрьевце, а не в Москве, что же касается Неронова, то он им ничего не говорил насчет подчинения Аввакуму. Тогда последний, раздраженный и оскорбленный, удалился из собора, отказавшись от всяких сношений с его священниками, и отправился в дом Неронова. Там решил он отбывать церковные службы, и сторонники его убеждали народ собираться к нему, замечая по адресу казанских попов, что “в иную пору и конюшня лучше церкви бывает”.

Но положение главы протестующего кружка, принятое на себя Аввакумом среди начавшейся борьбы, навлекало на него неизбежную месть со стороны патриарха, которого извещали обо всех его действиях. 13 августа, в субботу, когда Аввакум собрался “с братиею о Господе побдети” в сушиле в Нероновском доме, служба была прервана появлением патриаршего боярина Бориса Нелединского со стрельцами. Протопопа арестовали и отвезли на патриарший двор, где его приковали на цепь и так продержали до утра. Утром, с цепью на шее, его посадили в телегу, отвезли в Андроньев монастырь и там посадили на цепь в темном погребе. Три дня и три ночи держали здесь протопопа, не давая ему ни пищи, ни воды; только на третий день нашелся какой-то добрый человек, который тайно принес Аввакуму щей и хлеба, и в воображении узника он представлялся не то человеком, не то ангелом. На четвертый день вывели Аввакума из погреба, и архимандрит с братиею стали уговаривать его подчиниться

патриарху, но не имели успеха. Перенесенные истязания, не сломив протопопа, лишь утвердили его в мысли, что он страждет за правую веру. “Журят мне, – рассказывает сам он, – что патриарху не покорился, а я от писания его браню да лаю”. Видя безуспешность первых своих попыток, монастырские власти отдали протопопа под начало, осудив его тем на целый ряд физических и нравственных мучений. “У церкви за волосы дерут, – вспоминал впоследствии Аввакум, – и под бока толкают, и за чепь торгают, и в глаза плюют”. Четыре недели провел Аввакум в таком искусе, и невеселые вести доходили до него за это время через монастырские стены. Слышал он, что и другие члены недавно еще столь сильного кружка подверглись гонению, что протопоп костромской Даниил сослан в Астрахань, протопоп темниковский Даниил заточен в Новоспасский монастырь, Лонгин расстрижен; но были вести и еще более безотрадные. Не все единомышленники Аввакума в одинаковой степени обладали твердостью духа, необходимой для того, чтобы бестрепетно выдержать гонение, и в монастырь, где под строгим началом содержался узник, дошел слух, что самый видный после Неронова и наиболее влиятельный по близости своей к царю приятель его, протопоп Вонифатьев, “ослабел”, не стоит уже так сильно за правую веру, не ратует против Никона. Но как истязания и надругательства, к которым Аввакум привык еще в первые годы своей деятельности, так и общее гонение на единомышленников и отступничество некоторых из них, смущая и опечаливая его дух, не могли все же отвлечь его от того, что он считал своим подвигом. В нем и теперь сказалась та же твердая воля аскета, неспособная отступить перед мучениями, какую он обнаруживал и раньше, только теперь изменилось его отношение к мучителям, и уже не благословениями отвечал он на истязания: убежденный в том, что он защищает православную веру от готовой поглотить ее ереси, он не жалел резких обличений, проклятий и брани по адресу еретиков – патриарха Никона и его помощников.

Прошло четыре недели, и снова повезли Аввакума, прикованного к телеге, на патриарший двор для увещания. Но эта новая попытка склонить его к покорности окончилась новой неудачей, и Никон, увидев, что ему не удастся сломить дух юрьевецкого протопопа, решил применить к нему крайние меры, бывшие в его распоряжении, – лишение сана и ссылку. 15 сентября 1653 года Аввакума привезли из Андроньева монастыря в Успенский собор и собирались уже приступить к обряду расстрижения его, когда за него вступился сам царь. Алексей Михайлович вполне вверился Никону в церковных делах и отстранял все протесты против него, но не мог еще всецело отказаться и от прежних своих симпатий. С Аввакумом его,

сверх того, соединяла личная привязанность, к стойкому протопопу расположена была и царица Марья Ильинична, вообще склонная к старине, наконец, за него мог ходатайствовать и друг его, Вонифатьев, еще сохранивший, отчасти, свое влияние на царя. Поэтому-то, когда Аввакума готовились уже расстригать, Алексей Михайлович сошел со своего царского места и, подойдя к патриарху, стал упрашивать его избавить мятежного протопопу от этого унижения. Уговоры царя подействовали на Никона, расстрижение Аввакума было отменено, и по отношению к нему ограничились одной ссылкой в Сибирь. Его отвели из собора в Сибирский приказ и через несколько дней вместе с семьей отправили в Тобольск.

Так закончился второй период жизни Аввакума, тот краткий период, когда он, живя в Москве, пользовался сравнительным спокойствием благодаря тому, что окружавшая его обстановка находилась в полной гармонии с его настроением и взглядами. После непродолжительного отдыха для него опять наступала пора борьбы и страданий. Но теперь и эта борьба, и эти страдания получали в сознании самого Аввакума и значительной части современного ему общества новое значение. Если раньше он боролся против слабостей и грехов мира, искореняя их во имя идеалов высшей, духовной жизни, если тогда он мог стоять на почве для всех равно обязательной морали родной старины и только временами, случайно сталкивался с отголосками иных умственных течений, то теперь он стал лицом к лицу с движением, исходившим из начал, противоположных его собственным, и его деятельность, переходя с частной почвы на общую, приобретала значение защиты целого направления, охраны родного правоверия от угрожавших ему чужеземных новшеств. Присущие Аввакуму личные качества выдвинули его на одно из первых мест в этой борьбе, и в ее зловещем освещении его собственная личность – личность человека, гонимого за убеждения, – выросла до размеров апостола и мученика. Ссылкой в Тобольск для Аввакума действительно открылся долголетний подвиг страдания за проповедуемые им идеи, надевший на него мученический венец и поставивший его на одно из первых и самых почетных мест в ряду апостолов раскола.

ГЛАВА III. ЖИЗНЬ В ТОБОЛЬСКЕ И ДАУРИИ

Тринадцать недель везли сосланного протопopa с семьей до Тобольска, и немало нужды и лишений пришлось им вытерпеть на этом длинном пути. Между прочим, жена Аввакума в дороге родила ребенка, и ее, больную, везли дальше в телеге. Но по прибытии на место судьба Аввакума изменилась к лучшему благодаря сочувствию, встреченному им здесь со стороны епархиального начальства. Архиепископ тобольский Симеон, сам втайне сочувствовавший тому протесту против новшеств, одним из деятелей которого выступил Аввакум, склонен был видеть в последнем не ссыльного, а неповинного страдальца, притом пользующегося всеми правами священнического сана, с него не сложенного. Такое отношение возвращало протопопу возможность свободной и беспрепятственной деятельности. Симеон дал ему церковь, и он вновь выступал перед обществом, облеченный авторитетом своего сана, признанного церковной иерархией, выступал с ничем не стесняемой проповедью. Таким положением Аввакум как нельзя лучше и воспользовался для пропаганды своих идей, “браня от писания и укоряя ересь Никонову”. В далекую Сибирь с ним впервые проникала весть о волнениях, происшедших в русской церкви, и в его устах эта весть принимала, конечно, характер предупреждения о появившейся ереси, соединенного с резким ее обличением. Последнее и само по себе могло уже произвести свое действие на общество, строившее свое мировоззрение по преимуществу на религиозных началах, но это действие еще усиливалось благодаря ореолу подвижничества, окружавшему личность проповедника. И горячая, дышавшая глубоким убеждением проповедь Аввакума, на самом деле, многих привлекала к нему и вооружала против действий Никона, как направленных к внесению новшеств в русскую церковь и к искажению чистоты ее правоверия.

Деятельность ссыльного протопopa в Тобольске не исчерпывалась, впрочем, одним протестом против патриарших реформ в деле церковных обрядов и, согласно этому, происходила не только на почве убеждения и проповеди. Положение, занятое теперь Аввакумом, хотя бы и в силу лишь случайно сложившихся благоприятно для него обстоятельств, давало ему, во всяком случае, в руки власть, позволявшую проводить в жизнь идеалы

положительного характера путем непосредственного воздействия на общество, и не такой человек был Аввакум, чтобы не воспользоваться этой возможностью. Смотри на себя как на носителя идей, освященных всем авторитетом церкви и потому составляющих непреложные истины, и вместе как на представителя духовной иерархии, обладающей широкой властью над обществом, он ставил известные требования к окружающим во имя своих нравственных идеалов, вооружаясь для их защиты как духовным авторитетом, так подчас и прямо материальной силой. Защищать же было что, так как на далекой сибирской окраине жизнь значительной части общества еще менее укладывалась в строгие рамки нравственности, чем в центральных областях государства. Аввакум не замедлил повести деятельную борьбу с проявлениями нравственной распущенности общества, и эта борьба скоро познакомила жителей Тобольска с личностью протопопа.

Уехал как-то архиепископ в Москву, и в его отсутствие произошло столкновение между Аввакумом и архиепископским дьяком Иваном Струной. Последний за что-то придрался к дьячку Аввакумовой церкви и “мучить напрасно похотел” его, но тот убежал и спасся в церковь. Струна, собрав людей, последовал за ним и туда и, ворвавшись в церковь во время вечерни, схватил стоявшего на клиросе дьячка за бороду. Тогда Аввакум покинул службу, запер церковные двери, так что пришедшие со Струною люди не могли войти в храм, и, принявшись вместе с дьячком за самого Струну, “посадил его среди церкви на полу и за церковный мятеж постегал его ремнем нарочито таки” и уже после того, приняв от него покаяние, отпустил его домой. Эта выходка не прошла даром не в меру рьяному протопопу: родственники Струны возмутили против него население города и в ту же ночь пытались вломиться во двор Аввакума, грозя схватить его и утопить. Только случай спас Аввакума, но и после того ему долго еще приходилось прятаться от раздраженных врагов и даже не ночевать дома из опасения нового нападения. “Мучился я, от них бегаючи, – рассказывает сам он, – с месяц тайно: иное в церкви ночую, иное уйду к воеводе. Княгиня меня в сундук посылала, – я-де, батюшка, над тобою сяду, как-де придут тебя искать к нам; и воевода от них, мятежников, боялся, лишь плачет, на меня глядя. Я уже и в тюрьму просился, – ино не пустят”. Наконец возвращение архиепископа избавило Аввакума от гнета постоянного страха. Симеон, найдя протопопа совершенно правым, за его дело и еще за другой проступок приказал посадить Струну на цепь. Дьяк, однако, ушел от этого наказания и явился к воеводе с доносом на Аввакума, сказав на него “слово и дело государево”, а воеводы отдали Струну за

пристава сыну боярскому Петру Бекетову. Это вмешательство светской власти вновь изменило положение дела, и тогда архиепископ, подумав с Аввакумом, избрал иной путь для наказания непокорного дьяка и на неделе православия предал его проклятию в церкви.

Такой непреклонный ригоризм, не останавливающийся ни перед какими средствами, равно готовый действовать духовным и материальным оружием, но неспособный на уступки и подчинение, мог вызывать недовольство, резкий протест и насмешки со стороны окружающих, но мог и подчинять их своему влиянию. Даже наиболее грубые средства, пускавшиеся в ход Аввакумом, иногда производили свое действие среди некультурной обстановки. Пришел к нему однажды пьяный монах, известный всему городу своим буйством, и стал кричать под окном: “Учитель! Дай мне скоро царствие небесное!” Аввакум сперва терпел насмешку, но, видя, что “искуситель” неотступен, позвал его в избу и спросил: “Можешь ли пить чашу, которую я тебе поднесу?” Получив утвердительный ответ, он приказал поставить посреди избы стол, принести топор и сделать толстый канатный шелеп, а сам, взяв книгу, стал читать чернецу отходную. Задумался монах, увидав такие приготовления, но все же, по приказу протопопа, положил голову на стол и тотчас же пономарь нанес ему удар шелепом по шее. Закричал монах от боли, хмель с него соскочил, а бежать от суровой расправы некуда, и стал он просить пощады у протопопа, пав перед ним на колени. Аввакум назначил ему епитимью, велел положить полтораста поклонов перед образом, и в то время, как монах отвечивал поклоны, пономарь сзади угощал его шелепом. “Да уже насилиу дышать стал, – рассказывает протопоп, – так его употчивал пономарь. Вижу я, яко довлеет благодати Господни: в сени его пустили отдохнуть и дверь не затворили. Бросился он из сеней, да и через забор, да и бегом. Пономарь кричит вслед: отче, отче! манатью и клобук возьми. Он же отвеча: горите вы и со всем!” Оригинальное средство доставления царства небесного не осталось, однако, без результата: через месяц монах явился к Аввакуму, уже трезвый, просить прощения, получил его и с тех пор всегда, встречаясь с протопопом, кланялся еще издали ему в землю, да и своего архимандрита и братию стал почитать, так что даже сами воеводы Тобольска были благодарны Аввакуму за усмирение никому до тех пор не покорявшегося инока.

Суровый протопоп не только в прямой борьбе употреблял, однако, такие средства, не только на непосредственный протест, в виде насилия или вызывающей насмешки, отвечал силой, но практиковал последнюю и как средство проповеднической и учительской деятельности. Случилось ему

раз застать на грехе мужчину с женщиной, и, не добившись покаяния, он свел их в приказ к воеводам. “Те к тому делу милостивы, – с негодованием замечает Аввакум, – смехом делают: мужика, постегав маленько, и отпустил, а ее мне ж под начал и отдал смеючись”. Не так милостив оказался сам протопоп. Он посадил присланную к нему женщину в холодное подполье и трое суток держал ее там, в темноте и на морозе, не давая пищи, пока, наконец, грешница с криком стала каяться и просить помилования, так что ее вопли мешали протопопу совершать обычное ночное правило. Тогда он велел вывести ее и спросил: “Хочешь ли вина и пива?” “Нет, государь, – дрожа, отвечала женщина, – не до вина стало! Дай, пожалуйста, кусочек хлебца”. Услыхав такой ответ, Аввакум обратился к ней с увещанием: “Разумей, чадо, похотение то блудное пища и питье рождает в человеке, и ума недостаток, и к Богу презорство, и бесстрашие”, а затем дал ей четки и приказал класть поклоны. Истомленная трехдневным постом женщина упала среди этих поклонов, и тогда Аввакум велел пономарю бить ее все тем же пресловутым шелепом. “И плачу перед Богом, амучу”, – прибавляет он и так заканчивает свое повествование об этом случае: “начала много дал, да и отпустил. Она и паки за тот же промысел, сосуд сатанин!” Этот неожиданный для протопопа конец нимало не поколебал, впрочем, его веры в спасительность “начала”, производимого при помощи шелепа.

Полтора года провел таким образом Аввакум в Тобольске, строго наблюдая за нравственностью и правоведем своих прихожан, наставляя одних, обличая других, наказывая третьих, словом и делом осуществляя свой идеал подвижнической жизни. Деятельность эта принесла свои плоды: не только в самом Тобольске, но и за пределами его, в окрестных деревнях, носилась молва о благочестивом протопопе. К нему шли люди за поучением и советом в вопросах веры, к нему вели на исцеление бесноватых, и в его доме и теперь, как некогда в Лопатицах, а потом в Москве, постоянно было несколько таких больных, которых он лечил молитвой и постом. Вокруг самого Аввакума собрался кружок людей, решившихся, под влиянием поучений протопопа, отказаться от мира и посвятить себя Богу. Дом протопопа с постоянно совершавшимися в нем молениями, правилами, всенощными бдениями и т. п. представлял из себя образец обрядового благочестия и привлекал всех любителей и ревностных поклонников обрядности, формировавшихся здесь окончательно в ее фанатиков под влиянием примера и проповеди хозяина. В этом кружке ближайших учеников на Аввакума смотрели, как на великого страдальца и непогрешимого учителя, и, видя в нем прямого руководителя к спасению,

одного из немногих людей, могущих охранить грешное человечество от бесовских козней, старались беспрекословно выполнять все его требования, трепеща перед его осуждением. Как силен был такой страх учеников перед ним, может показать следующий пример. Была в числе домочадцев Аввакума девушка Анна, прежде служившая у одного из тобольских жителей, но затем отпущенная хозяином к протопопу, когда поучения последнего зажгли в ней желание остаться девушкой и посвятить себя Богу. Несколько времени она прожила спокойно в доме Аввакума, но затем беспрестанная молитва утомила ее, не давая полного душевного удовлетворения, а между тем, она еще раньше любила своего хозяина, и теперь заглушенная было любовь вспыхнула с новой силой. Аввакум сумел подавить этот порыв и удержать девушку, но когда он уехал из Тобольска, Анна таки не вынесла аскетического подвига и вышла замуж за бывшего своего хозяина. Восемь лет прожила она с мужем, двух детей уже имела, как пронеслась весть, что Аввакум опять будет проезжать через Тобольск. Анна отпросилась у мужа, за месяц до приезда Аввакума постриглась в монахини и, явившись к протопопу уже черницей, вымолила у него прощение и вновь вступила в число его домочадцев.

Но та самая деятельность, которая так привязывала к Аввакуму одних, обращая их в его покорных учеников, восстанавливала против него других. Его резкие проповеди и обличения задевали чересчур много интересов и не могли не вызывать сильного отпора, постоянные же столкновения с окружающими создавали вокруг него массу врагов. На протопопу пошли жалобы, за полтора года “пять слов государевых” сказывали на него, и, наконец, слухи об его энергичной пропаганде против новшеств патриарха дошли до Москвы. Оттуда прислан был указ – ехать Аввакуму дальше, в ссылку на Лену. Одновременно с этим получил он из столицы известие, что два его брата, жившие во дворце, равно как и их жены и дети, умерли во время мора, бывшего перед тем в России. Со стесненным сердцем поехал протопоп в назначенную ссылку, а уже в Енисейске застал его новый указ, повелевавший ему ехать в Даурию с отправлявшимся туда под начальством воеводы Афанасия Пашкова военным отрядом. Пашков получил поручение искать в Даурской земле пашенных мест со всякими угодьями и в таких местах для укрепления русского владычества ставить остроги; к этой-то колонизационной экспедиции был прикомандирован Аввакум в качестве священника, благодаря чему он очутился в непосредственной зависимости от начальника отряда. При широкой власти, какою пользовались отдельные воеводы, очень мало подвергавшиеся контролю со стороны центрального управления, они являлись по большей части вполне самовластными

правителями, а царившая грубость нравов нередко налагала на их самоуправные действия отпечаток крайней жестокости. В Сибири, откуда жалобы населения не так-то скоро могли дойти до Москвы, этот порядок давал себя чувствовать сильнее, чем где бы то ни было; здесь произвол воевод часто принимал такие грубые и примитивные формы, какие все-таки невозможны были в областях европейской России. Пашков, в отряд которого попал Аввакум, был типичным образцом такого администратора: глубоко невежественный, грубый, жестокий, одаренный в большой мере суеверием и в очень малой какими-либо религиозными и нравственными понятиями, он являлся как бы воплощением беспощадной материальной силы: “суров человек, – говорил о нем Аввакум, – беспрестанно людей жжет и мучит, и бьет”. Казни, плети, кнуты и пытки служили у него обыкновенными средствами поддержания дисциплины среди подчиненных. И этому-то человеку дано было из Москвы еще специальное приказание строго наблюдать за Аввакумом и “мучить” его.

Казалось, только полная и безусловная покорность могла при таких условиях сколько-нибудь обезопасить Аввакума от проявлений грубого насилия со стороны воеводы. Но Аввакум неспособен был к такой покорности и не искал спокойствия и мира. Физической силе, над ним тяготевшей, он смело противопоставил духовный авторитет, произволу – нравственные законы и религиозные заповеди, жестокости – отважное свободное слово проповедника и гордое смирение мученика. Столкновение между двумя столь противоположными людьми было неизбежно, и Аввакум не только не уклонялся от него, но даже первый, вмешавшись в распоряжения Пашкова, вызвал борьбу, которая затем продолжалась уже все время их совместной жизни и о которой сам он впоследствии выражался таким образом: “он меня мучил или я его, не знаю, Бог разберет в день века”.

По дороге, на реке Тунгузке, отряд Пашкова встретил караван, в котором, между прочим, плыли две вдовы, уже старухи, лет за шестьдесят, думавшие вступить в монастырь. Пашков стал принуждать их возвратиться и выйти замуж; не вытерпел этого Аввакум и начал увещевать воеводу не нарушать апостольских правил. Крутой воевода не потерпел, в свою очередь, такого вмешательства, и, в виде наказания, стал гнать проповедника с дощаника, уверяя, что из-за его еретичества суда плохо идут по реке, и требуя, чтобы он шел берегом, по горам. “О, горе стало! – рассказывает протопоп. – Горы высокие, дебри непроходимые; утес каменный, яко стена, стоит, и поглядеть – заломя голову”. Аввакум опять прибег к увещанию, что в его устах было почти равносильно обличению, и

отправил к Пашкову “малое писанейце”. “Человече! – писал он здесь, – убойся Бога, сидящего на херувимех и призирающа в бездны, Его же трепещут небесныя силы и вся тварь со человеки, един ты презираешь и неудобства показуешь...” Такое послание окончательно вывело Пашкова из себя, и он решил усмирить дерзкого ослушника. О последовавшей сцене пусть расскажет сам протопоп.

“А се бегут, – вспоминал он в своем “Житии”, – человек с пятьдесят: взяли мой дощаник и помчали к нему, – версты три от него стоял. Я казакам каши наварил, да кормлю их: и они, бедные, и едят, и дрожат, а иные плачут, глядя на меня, жалеют по мне. Привели дощаник; взяли меня палачи, привели пред него: он со шпагою стоит и дрожит. Начал мне говорить: поп ли ты, или распоп? И аз отвечал: аз есмь Аввакум протопоп; говори, что тебе дело до меня? Он же рыкнул, яко дивий зверь, и ударил меня по щеке, тоже по другой, и паки в голову, и сбил меня с ног, и, чекан ухватя, лежачаго по спине ударил трижды, и розболокши, по той же спине семдесят два удара кнутом. А я говорю: Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помогай мне! Да тоже, да тоже, безпрестанно говорю. Так горко ему, что не говорю: пощади! Ко всякому удару молитву говорил. Да посреди побои вскричал я к нему: полно бить-то! Так он велел перестать. И я промолвил ему: за что ты меня бьешь? ведаешь ли? И он велел паки бить по бокам, и отпустили. Я задрожал, да и упал. И он велел меня в казенный дощаник оттащить: сковали руки и ноги и на беть (поперечную скрепу в барке) кинули. Осень была: дождь на меня шел, всю ночь под капелию лежал”.

Побоями не ограничилось наказание, наложенное Пашковым на непокорного протопопа; всю остальную дорогу его везли скованным, пока, наконец, отряд добрался до Братского острога, где и остановился на зимовку. Здесь Аввакума сперва посадили в холодную тюрьму, и только в половине ноября воевода перевел его в теплую избу, но и в ней держал как преступника, в оковах, “с аманатами и с собаками”, тогда как семья его была сослана в другое место, верст за двадцать. Когда же один из сыновей протопопа, еще мальчик, вздумал навестить отца, Пашков приказал на ночь бросить его в ту студеную тюрьму, в которой сидел прежде сам Аввакум, а утром прогнал обратно, не допустив и повидаться с отцом. Так в одиночестве и заключении и закончился для Аввакума первый год его пребывания в отряде Пашкова. Вести о злоключениях протопопа дошли до архиепископа Симеона, и он писал в Москву о зверствах Пашкова. “А в Даурию, государь, к Офонасью Пашкову, – прибавлял он, – попов и дьяконов посылать не смею, потому что он нравом озорник великий”. Из

Москвы Симеону ответили, что Пашков будет сменен, но Аввакуму долго еще пришлось дожидаться этой смены. С началом весны открылся дальнейший поход: переплыв Байкал, отряд Пашкова прибыл на реку Хилку и целое лето тянулся вверх по ней; дальше путешествие продолжалось уже и летом, и зимой; летом плыли по рекам, зимою на лошадях и пешком совершали переходы по суше, тащились волоком. С Аввакума сняты были оковы, и он соединился со своей семьей, но зато Пашков заставил его работать вместе с казаками; он должен был и тянуть лямкою суда, и участвовать в других работах, а сверх того еще заботиться о жене и детях. Помощников он не имел, так как дети были еще малы, а работников Пашков у него отнял и другим запретил к нему наниматься, да и нанимать Аввакуму было почти уже не на что: имущество, вывезенное из Москвы и состоявшее по преимуществу из одежды и книг, частью погибло во время разных дорожных невзгод, частью же было разграблено казаками или отнято самим Пашковым, так что его оставалось уже очень немного. А тем временем ко всем бедам прибавилась еще новая: в отряде не хватило хлеба и началась жестокая нужда, не коснувшаяся одного воеводы, у которого “казачьими трудами” всего было запасено достаточно. И без того мрачная обстановка, окружавшая протопопа, сделалась еще мрачнее, еще безотраднее. “Стало нечего есть, – описывает сам он это время своим образным языком, – люди учили с голоду мереть и от работных водяных бродни. Река мелкая, плоты тяжелые, приставы немилостивые, палки большие, батоги суковатые, пытки жестокия, – огонь да встряска, – люди голодные: лишь станут мучить, ано и умрет. Ох времени тому!” Сам Аввакум сперва еще кое-как пробивался с семьей; правда, хлеб, какой он вывез с собой из Енисейска, Пашков у него отнял, но на оставшиеся еще у него вещи он выменивал у воеводы хлеб и питался вареной немолотой рожью. Когда и этот источник иссяк, протопопу с семьей пришлось испытать весь ужас голода, довелось питаться травами и сосновой корой вместо хлеба, есть павших лошадей и найденные по дороге трупы животных, зарезанных волками: “что волк не доест, то мы доедим”. Некоторое время спустя протопоп с сокрушением сердечным вспоминал, что и он “волею и неволею причастен кобыльим и мертвечьим звериным и птичьим мясам”. Его железное здоровье выдержало все эти испытания, но из детей его два маленьких сына умерли в эту тяжелую пору.

Между тем, терпя голод и лишения, вынося жестокие истязания воеводы и теряя людей по дороге, отряд все подвигался вперед, и сама эта дорога способна была навести ужас. Летом было еще легче, но зимою, когда суровые морозы сковывали реки и землю ледяным покровом, жутко

было немногочисленным пришельцам в дикой и пустынной стране, среди редкого, но враждебного населения, которое они только еще собирались подчинить своей власти. Тяжесть пути особенно давала себя знать Аввакуму; для детей и кое-какого оставшегося у него имущества воевода дал ему двух лошадей, но сам он с женой должен был идти пешком и не раз, должно быть, на этом длинном пути разыгрывались сцены, подобные той, описание которой мы находим в “Житии” Аввакума.

“Страна варварская; иноземцы немирные; отстать от лошадей не смеем, а за лошадьми идти не успеем, голодные и томные люди. Протопопица бедная бредет, бредет, да и повалится, – скользко гораздо! В иную пору, бредучи, повалилась, а иной томный же человек на нее набрел, тут же и повалился: оба кричат, а встать не могут. Мужик кричит: матушка-государыня, прости! А протопопица кричит: что ты, батько, меня задавил! Я пришел, – на меня бедная пеняет, говоря: долго ли муки сея, протопоп, будет? И я говорю: Марковна, до самая смерти. Она же, вздохня, отвещалаь добро, Петрович, ино еще побредем”.

Немногим легче стало протопопу и с момента прибытия на место. Голод почти не прекращался, так как урожаи были плохи – по большей части дожди уничтожали посевы, нужда царила жестокая, а Аввакуму надо было заботиться о пропитании многочисленной семьи и без усталости работать, подвергаясь притом постоянным гонениям со стороны воеводы. При такой жизни не на одну только мужественную протопопицу находило временами уныние. Под тяжким гнетом лишений поддавалась иногда и железная твердость самого Аввакума. Бывали минуты, когда он, истомленный мучениями Пашкова, собирался уже просить у него пощады; бывало, что под непосильным бременем житейских забот он забывал о молитве и “изнемогал в правиле”. Но эти моменты слабости длились недолго. Проникавшая все существо Аввакума глубокая уверенность в правоте своего подвига помогала ему оправиться от уныния; воображение, вечно работавшее в одном направлении, вызывало перед ним чудесные видения, в которых деятельную роль играли небесные и адские силы, и угасшая было бодрость духа снова воскресала в протопопе. Ангелы являлись ему и возбуждали в нем мужество, предостерегая от падения, “сила Божия возбраняла” ему смиряться перед воеводой, и Аввакум, находя в себе под впечатлением этих видений новую мощь, налагал на себя еще большее бремя молитвенного подвига, еще с большим рвением обличал Пашкова, терпеливо вынося все истязания. В эти моменты духовного экстаза самые обыденные явления жизни принимали в его глазах чудесные очертания, и он всюду сознавал присутствие невидимой силы, его

охраняющей. Находил ли он прорубь во льду озера, когда ему хотелось пить во время путешествия, давало ли осечку ружье, направленное Пашковым на своего сына, вздумавшего заступиться за протопопа, – во всем этом Аввакум видел проявление божественной силы, стерегущей своего верного служителя.

Исполненный живой веры в свой подвиг, Аввакум не ограничивался пассивной ролью мученика, но постоянно переходил в роль обличителя и проповедника. Неумолчно осуждал он Пашкова всякий раз, как видел в его действиях отступление от правого пути, постоянно убеждал его исполнять религиозные предписания и церковные обряды и с непоколебимой стойкостью выносил все мучения, которыми щедро осыпал его взбешенный воевода. Такие отношения, плохо укладываваясь в обычные рамки положения ссыльного перед своим начальником, скорее имели характер ожесточенной борьбы двух противников, воплощавших в себе грубую силу и убеждение, причем первая не только не одерживала в этой борьбе полной победы, но терпела порою и поражения. Действительно, строгая подвижническая жизнь протопопа и его непоколебимое мужество даже в свирепом воеводе пробуждали порой мысль о существовании чего-то высшего, чем простая сила, и невольно импонировали ему до такой степени, что он временами как бы подчинялся протопопу и признавал его авторитет; так, он по совету Аввакума стал было одно время служить вечерни и заутрени, надеясь, что это соблюдение обряда доставит хороший урожай; так, он поверил в чудесное исцеление своего внука протопопом и смиренно благодарил последнего. Правда, подобный перевес Аввакума держался очень недолго: приливы набожности и сравнительного смирения у воеводы быстро проходили и сменялись по какому-нибудь поводу новой, часто еще более жестокой вспышкой, в которой вполне давала себя знать его необузданная, непривычная к какой бы то ни было нравственной сдержанности натура.

Но и Аввакум, в свою очередь, не довольствовался только отстаиванием своих взглядов, мученичеством за них и распространением их посредством убеждения. Его пылкий фанатизм увлекал его далеко за эти границы, и он способен был в вопросах веры явиться насильником, мало чем уступавшим в этом отношении самому мучившему его воеводе. Случилось раз, что Пашков, отправляя своего сына Еремея с небольшим отрядом казаков в поход на один из соседних народцев, призвал шамана погадать, удастся ли это предприятие. Шаман предсказал полный успех похода, обещал богатую добычу и благополучное возвращение, и ратные люди обрадовались. Но глубоко опечалился протопоп, видя, что христиане слушают “бесов” и верят им. Возгоревшись благочестивою ревностью, он

решил посрамить бесовские козни и наказать людей, осмелившихся искать предсказаний и советов у дьявольского служителя вместо того, чтобы обратиться к христианскому священнику. С этой целью он “в хлевине своей кричал с воплем ко Господу: послушай мене, Боже! послушай мене, Царю небесный-свет, послушай мене! да не возвратится вспять ни один от них и гроб им там устроиши всем! приложи им зла, Господи, приложи и погибель им наведи, да не сбудется пророчество дьявольское!” В своем фанатическом рвении протопоп доходил, таким образом, до сознательного изуверства и ради торжества своих взглядов готов был принести в жертву жизнь неповинных людей, употребляя для этого такое средство, которое в его представлении являлось вполне действительным. Пашкову донесли о такой молитве Аввакума, но он сперва не обратил внимания на донос и вспомнил о нем лишь тогда, когда отправленный в поход отряд не вернулся к сроку. Тогда он решил, что это результат заклятий протопопа, и собрался было пытаться его. Аввакум, видя беду, приготовился уже к смерти, но его спасло случайное возвращение сына Пашкова, который один только и спасся из всего отряда, истребленного инородцами. Сам Еремей приписывал свое спасение исключительно своим хорошим отношениям с Аввакумом и, вступившись за последнего перед отцом, успел отвести беду от головы протопопа.

Аввакум и вообще не был в своей жизни с Пашковым совершенно одинок: у него были и здесь заступники и помощники, часто спасавшие его и от последствий воеводского гнева, и от тяжелых, подчас совершенно невыносимых тисков нужды. Если даже на самого воеводу нравственная личность Аввакума оказывала некоторое влияние, то еще более глубокое впечатление производила она на многих других из окружавших его людей, и прежде всего на семью воеводы, состоявшую, кроме самого Пашкова, из его жены, сына и снохи. Для этих людей, малосведущих в вопросах религии, настолько суеверных и невежественных, что они могли обращаться за предсказанием к шаману и за лечением к “мужику-шептуну”, одно было ясно в протопопе, что это человек, чтущий веру и благочестие выше всего, страдающий за свои религиозные убеждения и готовый умереть за них. Какого рода были эти убеждения, насколько они были истинны и насколько заключали в себе заблуждения – такие вопросы были бы не под силу этим людям; но они видели, как ревностно соблюдает Аввакум все подробности религиозной обрядности, наиболее доступной их пониманию, и это в связи с его мученической жизнью порождало в их умах представление о нем, как о поборнике религиозной истины и великом подвижнике благочестия. Это представление еще укреплялось проповедью

Аввакума, полной горячего осуждения новшеств, занесенных в русскую церковь патриархом: понятие о ереси, в которой обвиняли протопопа, плохо вязалось с отстаиванием русской церковной старины в умах людей, привыкших эту последнюю считать единственно правой верой. Так среди семейных воеводы и установился взгляд на Аввакума как на невинного страдальца и истинного учителя. К нему и здесь присылали для лечения бесноватых; сноха Пашкова приглашала его лечить ее сына, а раз протопоп совершил для нее чудо над курами.

“У боярыни куры все переслепли и мереть стали, – рассказывает он об этом с своею неподражаемой, эпической наивностью, – так она, собравши в короб, ко мне их прислала, чтоб-де батко пожаловал – помолил о курах. И я-су подумал: кормилица то есть наша; детки у ней: надобно ей курки! Молебен пел, воду святил, курок кропил и кадил; потом в лес сбродил,– корыто им сделал, из чего есть, да к ней все и отослал. Куры, Божиим мановением, исцелели и исправились по вере ея”.

Совершая такие чудеса для веровавших в него людей, Аввакум, вместе с тем, своими поучениями утолял их духовную жажду. В свою очередь они, чем могли, облегчали его тяжелую долю: сын Пашкова не раз заступался за него перед отцом, рискуя даже собственной жизнью, так как воевода в гневе не щадил никого; жена и сноха воеводы снабжали припасами протопопа и его семью во время самой жестокой нужды, постигшей было их в Даурии. Припасы приходилось пересылать тайком от Пашкова, поэтому Аввакум не мог получать многого от своих поклонниц; ему доставляли то хлеб, то кусок мяса, то немного муки, бывало, что присылали и корму, взятого из куриного корыта, но все же эти скудные даяния помогли ему кое-как перебиться в течение голодного времени, которое иначе трудно было бы пережить ему с семьей.

И не в одной воеводской семье находил для себя ссыльный протопоп приверженцев и последователей. Немало их нашлось с течением времени и среди казаков, составлявших отряд Пашкова. Видя также в Аввакуме высокого подвижника и борца за веру, склоняясь перед его нравственной мощью, они тем легче сближались с ним, что находились под общим с ним гнетом. Это усиливало их теплое чувство к Аввакуму, и если последний среди них, самих беспомощных и терпевших всегдашнюю нужду, не мог найти ни заступников, ни помощников, если все их услуги по отношению к нему могли исчерпываться разве лишь предупреждением об опасности, грозившей со стороны Пашкова, зато многие из них явились ревностными учениками его, равно готовыми пострадать за то, что вместе с ним считали

истинным древним благочестием, и почти все, за немногими исключениями, относились к нему в высшей степени сердечно, как к невинному страдальцу.

В далекой ссылке Аввакум остался, таким образом, верен себе. Ни суровый климат, ни голод, ни пытки и мучения воеводы не сломили его нравственной энергии, и не только он не отказался от пропаганды своих взглядов, но временами его стойкое мужество колебало даже самого грозного палача, под власть которого он был отдан. Трудно сказать, чем могла бы кончиться эта неравная борьба между протопопом и воеводой, но она была прервана в самом разгаре. Более пяти лет уже провел Аввакум в отряде Пашкова, как пришли из Москвы, в начале 1661 года, два указа: один сменял Пашкова с воеводства, другой приглашал протопопу вернуться в столицу. Пашков поехал вперед с ратными людьми, а Аввакума оставил почти содними больными и стариками, надеясь, быть может, что с таким конвоем он погибнет на пути. Но Аввакум мало внимания обратил на это. Слишком доволен он был, что избавился от заклятого врага; к тому же долголетняя ссылка наконец прекратилась, его призывали в Москву и, конечно, призывали потому, что убедились в истине его взглядов. Пророческие видения сбывались наяву, и мог ли он, взисканный ими, сомневаться в том, что та же божественная сила, которая выводила его из тяжкого плена, охранит его на пути и не даст погибнуть, не совершив своего призвания?

С глубоким умилением, полный энтузиазма и веры, стал собираться он в дорогу и, покончив через месяц сборы, отправился, везя с собою 17 человек. На прощанье он выкупил у казаков и увез с собой одного из бывших приспешников Пашкова, который при последнем преследовал его и искал его смерти; теперь Аввакум отплатил ему спасением жизни, так как казаки, избавившись наконец от гнета воеводы, собирались своим судом расправиться с его наиболее ревностными слугами. Другого подобного приспешника Пашкова казаки не хотели отдать Аввакуму, и уже на пути он встретил протопопу, моля спасти его от погони и лютой смерти. Ради спасения человеческой жизни всегда правдивый протопоп решился на тяжелый для его совести грех лжи: он спрятал беглеца под постелью, на которую положил свою жену с дочерью, а догнавшим его казакам сказал, будто у него нет того, кого они ищут. Всю лодку обыскали казаки, а постели протопопицы не тронули. “Опочивайте, матушка! и так ты, государыня, горя натерпелась!” – говорили они мужественной женщине, долгие годы безропотно страдавшей на их глазах и вместе с ними. Погоня уехала ни с чем. С таким-то экипажем, снабдив лодку вместо орудия

крестом, двинулся Аввакум в далекий и опасный путь, в конце которого лучезарной звездой горела для него надежда полной победы.

ГЛАВА IV. ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ И НОВОЕ УДАЛЕНИЕ ИЗ НЕЕ

Надежды Аввакума были, однако, в значительной мере неосновательны: на деле вызов его в Москву объяснялся не победой “старой веры” и ниспровержением никоновских реформ, а иными, более мелкими причинами, заключавшимися в другой группировке дворцовых партий и в изменении положения самого патриарха. Властолюбивый и крутой Никон не ужился в конце концов с мягким и нерешительным, легко поддававшимся чужой воле, но в свою очередь самолюбивым и питавшим высокое мнение о своей власти царем Алексеем: недовольные патриархом бояре успели внести охлаждение в отношения Алексея Михайловича к его “собинному другу”, а неловкие действия последнего еще усилили это охлаждение, и уже через пять лет после высылки Аввакума из Москвы между царем и патриархом произошел решительный разрыв. Гордость Никона не позволяла ему ради примирения с царем идти на уступки, и он попытался добиться той же цели иным путем, более соответствовавшим его характеру. 11 июля 1658 года, после службы в Успенском соборе, патриарх заявил народу, что он покидает свой патриарший престол, и, несмотря на увещания присланных от царя бояр, удалился в Воскресенский монастырь. Правда, расчеты Никона не оправдались, так как Алексей Михайлович не выказал ни особенной уступчивости, ни особого горя по поводу его удаления, но вместе с этим, у царя не нашлось и достаточно решимости, чтобы разом покончить с запутавшимся вопросом об избрании нового патриарха. Между тем сам Никон, заметив свою ошибку, вздумал повернуть и взять назад свой отказ от патриаршего сана, что еще более усложнило дело. При установившейся зависимости русской церкви от светской власти выбор того или другого пути действий в этом запутанном положении вполне зависел от воли царя, но Алексей Михайлович колебался и, не желая уступить притязаниям Никона, в то же время долго не мог собраться с духом нанести последний удар своему недавнему другу. С другой стороны, большинство бояр, опасаясь самовластного характера Никона, ни в каком случае не хотело вновь видеть его на патриаршем месте и старательно изыскивало средства устранить возможность примирения между ним и царем. Для этого, между прочим, бояре обратились к тем духовным лицам, которые некогда, до патриаршества Никона, были близки

к царю Алексею и вслед за тем первые возвысили голос против реформ нового патриарха, за что тяжело и поплатились. Все эти лица были хорошо знакомы с боярами, часто даже связаны узами личной дружбы с ними, а сверх того, их соединяла общая вражда к бывшему патриарху, хотя эта вражда и происходила от различных причин. Мало принимая во внимание это последнее обстоятельство, бояре рассчитывали вновь сблизить Алексея Михайловича с прежними советниками и тем помешать его примирению с Никоном, предполагая, что затем вопрос о церковной реформе можно будет решить путем мирного соглашения. Исходя из таких соображений и пользуясь тем, что, с удалением Никона от патриаршества, усердие церковной иерархии к преследованию раскольников несколько ослабело, они и постарались устроить возвращение в Москву влиятельнейших членов бывшего кружка протопопов.

Ничего не зная в Даурии об этих обстоятельствах, Аввакум объяснял себе свой вызов из ссылки победою того дела, за которое он вел борьбу. Но недолго могли держаться эти светлые иллюзии: проехав благополучно через области инородцев и добравшись до первых русских городов, протопоп тут же и “уразумел о церкви, яко ничто же успеваает”, узнал, что гонение на людей, восставших против Никона и его реформ, все еще продолжается, а сами эти реформы по-прежнему находят себе признание и деятельную поддержку со стороны светских властей. Восторженное настроение, охватившее было его, быстро исчезло, уступив место мучительному разочарованию и даже сомнениям. Перед этим он свыкся с мыслью об окончании своего страдальческого подвига, а теперь опять видел перед собою новую борьбу, которая легко могла навлечь новые и, пожалуй, еще худшие бедствия не только на него, но и на его жену и детей, только что избавившихся от мучений и опасностей. Под влиянием этих мыслей в душу Аввакума проникли мучительные колебания. Переход от радостных надежд к прежнему суровому, фанатическому мужеству не давался ему сразу, и он тяжело и горько задумался, начать ли снова свою обличительную проповедь или, воспользовавшись свободой, скрыться где-нибудь в тихом месте и там, вдали от искушений и бедствий мира, дожить свой век, заботясь только о своем личном спасении. Из этой нерешимости его вывела жена, к которой он обратился за советом. “Жена! что сотворю? – сказал он ей, – зима еретическая на дворе: говорить ли мне, или молчать? связали вы меня!” “Господи, помилуй! – отвечала ему Настасья Марковна, – что ты, Петрович, говоришь! Аз тя и с детьми благословляю: дерзай проповедати слово Божие по-прежнему. А о нас не тужи; дондеже Бог изволит, живем вместе; а егда разлучат, тогда нас в молитвах своих не

забывай! Поди, поди в церковь, Петрович, обличай блудно еретическую!” И ободренный протопоп снова начал “ересь никонианскую со дерзновением обличать”, по всем городам, через которые ему случалось проезжать, проповедуя о мерзости Никоновских исправлений в церковных книгах и обрядах и убеждая людей крепко держаться единственно правого древнего благочестия.

Тем не менее прежняя целостность настроения не сразу восстановилась в возмущенной душе самого проповедника. Невольно, быть может, даже помимо его сознания, радость по поводу собственного спасения от казавшихся бесконечными страданий несколько смягчала мрачный колорит фанатизма его убеждений, склоняя его к большой терпимости, если не в мнениях, то в их выражении словами и поступками. Для освобожденного, не преследуемого Аввакума никониане не были уже совершенно теми же беспощадными врагами, какими они представлялись ему в момент жестоких гонений. Но, с другой стороны, сущность убеждений протопопа несколько не изменилась, а то обстоятельство, что кругом господствовало учение, которое он считал ересью, что ввиду этого в нем самом уже пробуждалось сомнение, порождало жгучее до болезненности опасение, как бы не лишиться всех плодов своего подвига, не упасть в расставленные сети. Столкновение этих противоположных чувств и стремлений неизбежно вызывало сильный душевный разлад, который при крайне нервной натуре Аввакума обыкновенно разрешался у него видениями. Так было и на этот раз. В Тобольске, где протопоп остановился зимовать на второй год своего возвратного путешествия, он начал было ходить в соборную церковь, где богослужение совершалось по исправленным служебникам, и стал уже несколько привыкать к такой службе: “что жалом, духом антихристовым и ужалило было”. Но однажды, после такого посещения церкви ему во сне послышался голос: “Блюдися от мене, да не полма растесан будиши!” В ужасе проснулся протопоп и пал перед иконой ниц, восклицая: “Господи, не стану ходить, где по-новому поют!”

Так, по мере того, как сглаживалось первое радостное впечатление свободы, все резче выступал наружу непримиримый фанатизм Аввакума, все более он становился самим собою, человеком, не желающим иметь никакого общения ни с кем, кто только в чем-либо расходился с ним. Как раз в то время, когда он, возвращаясь из ссылки, зимовал в Тобольске, в этом городе жил другой знаменитый ссыльный, хорватский патриот и своего рода славянофил по убеждениям, Юрий Крижанич, приехавший в Москву и из нее попавший в Сибирь. Казалось, эти два человека, которые

испытали почти одинаковую судьбу, в убеждениях которых национальные начала равно занимали первенствующее место, могли найти много точек соприкосновения друг с другом; но на деле все их сношения ограничились одним коротким свиданием, при котором даже не состоялось настоящего разговора. Предоставляем рассказать об этом свидании самому Крижаничу. “Аввакум, – говорит он, – послал за мной и вышел ко мне на крыльцо; когда я хотел ступить на лестницу и взойти, он сказал: “Не ходи сюда, стой там и скажи, какой ты веры”. Я сказал: “Благослови, отче!” А он отвечал: “Не благословлю, – исповедуй прежде свою веру”. Я отвечал: “Отче честной! Я верую во все, во что верует святая апостольская церковь, и священническое благословение принимаю в честь и прошу его в честь. И о вере готов объясниться с архиереем, а пред тобою, путником, который и сам подвергся сомнению веры, нечего мне широко о вере говорить и объясняться. Если ты не благословишь, благословит Бог! Оставайся с Богом!”

Но если резкая нетерпимость Аввакума отпугивала от него людей с несколько более широким умственным кругозором, то тем большим успехом пользовалась его горячая проповедь среди масс. На всем обратном пути, продолжавшемся около трех лет, толпы народа в городах и селах собирались слушать поучения протопопа. Эти поучения, полные энтузиазма, освященные кровью проповедника, производили сильное впечатление на народные массы, и немало людей, благодаря им, отшатнулось от церкви, немало подражателей и пособников примкнуло к Аввакуму из числа ревнителей благочестия. Между прочим, в Устюге встретился протопоп с одним из частых тогда подвижников-юродивых, неким Федором, который и летом, и зимой ходил без верхнего платья, в одной рубахе, днем юродствовал на людях, а ночи проводил в усердной молитве, стремясь таким путем достигнуть спасения. Занятый своим подвигом юродства, он не обращал внимания на исправление книг, да, вероятно, сам не мог и заметить его особенностей, а споры, поднявшиеся по этому поводу среди духовенства, до него еще не доходили. Аввакум, познакомившись с ним, рассказал ему о новшествах в церкви и силой своего слова довел до того, что Федор, схватив имевшуюся у него псалтирь новой печати, “тотчас и в печь кинул, да и проклял всю новизну”. Вслед за тем он отправился с Аввакумом в Москву и сделался одним из ревностнейших его приверженцев и учеников.

Распространяя по пути свое учение и всюду почти приобретая учеников и сторонников, протопоп прибыл наконец и в Москву, из которой выехал около десяти лет тому назад в ссылку. При этом въезде в столицу он

был уже не тем малоизвестным священником, каким он жил в ней некогда: его сопровождал ореол мученичества, дорогой ценой добытый в Тобольске и Даурии и привлекавший к нему теперь внимание даже тех, кто его не знал раньше или мало знал. Этот ореол, создавшийся вокруг него, имел особенное значение при условиях, какие Аввакум застал в Москве. Брожение умов, принявшее в русском обществе с момента преобразований Никона такой резкий характер, далеко еще не привело к последним своим результатам; различные партии еще не сформировались окончательно и колебания, переходы с одной стороны на другую происходили в высшей степени часто. Некоторые из людей, десять лет назад выступивших с протестом против новшеств патриарха, теперь уже отступились от начатого ими дела, разубедившись в истине его, и в числе их был сам Иван Неронов, некогда признанный глава кружка протопопов, друг и руководитель Аввакума. Сосланный сперва в Спасокаменный, а затем в Кандалашский монастырь, он уже 10 августа 1655 года бежал из последнего в Соловки и отсюда пробрался в Москву. Здесь он в течение нескольких месяцев скрывался от грозного патриарха то в самом городе, то в его окрестностях, в исходе 1656 года постригся в монахи и принял имя старца Григория. Во время этих скитаний он сперва продолжал проповедь против новых книг и обрядов, но затем его убеждения поколебались под влиянием неожиданных для него событий. На соборе 1655 года в Москве, кроме русского духовенства, которое, по мнению Неронова, соглашалось с Никоном лишь из страха перед ним, присутствовали два приезжих патриарха, Макарий антиохийский и Гавриил сербский, и эти патриархи предали проклятию двоеперстие и своими подписями одобрили вновь исправленный “Служебник” и только что переведенную с греческого книгу “Скрижаль”. К ним присоединились и голоса других двух патриархов, константинопольского Афанасия и иерусалимского Паисия, а последний в ответе своем на вопросы Никона и Алексея Михайловича строго осудил протест Неронова против преобразовательной деятельности Никона. Все это оказало подавляющее влияние на Неронова: вражда его к Никону сохранилась в полной силе, но он не был настолько убежден в своей правоте по разделявшему их вопросу, чтобы найти в себе достаточно силы противиться решению глав вселенской церкви. Приговор патриархов поверг его в сомнение, разрешившееся тем, что в январе 1657 года старец Григорий явился к Никону и заявил ему, что не хочет быть под клятвою вселенских патриархов и потому готов признать его реформы. Хотя и после того он продолжал еще придерживаться некоторых старых обрядов и книг, но уже не выступал с принципиальной оппозицией против действий

патриарха, и только личные отношения его с последним никак не могли наладиться: старая вражда давала себя чувствовать постоянными вспышками, а когда произошел разрыв между царем и патриархом, Неронов явился одним из наиболее усердных противников Никона. Тем не менее, он уже сошел со сцены раскольничьего движения и, хотя его пример увлек за собой нескольких людей, питавших веру в него и личную к нему привязанность, его поступок не оказал заметного влияния на все движение в его целом, так как оно давно уже перешло за рамки протеста единичных личностей.

В этот-то момент, когда от движения отходили более умеренные его элементы, явился в Москве Аввакум, предшествуемый славою непоколебимого страдальца за веру. Прием, встреченный им здесь, не оставлял ему желать ничего лучшего – “Яко ангела, прияша мя”, – писал он. Его заклятый враг, Никон, бессильный и всеми покинутый, сидел в Воскресенском монастыре; бояре, видевшие в протопопе могучего союзника против павшего патриарха, рады были его возвращению, а многие из них смотрели на него как на проповедника истины. Сам царь, всегда питавший расположение к Аввакуму, обрадовался его приезду. Соглашаясь с Никоном в деле церковной реформы, Алексей Михайлович не мог, однако, отказаться от того уважения, которое он питал к ревнителям русской обрядовой старины, и это отразилось на всем его отношении к ним во время их распри с патриархом. Он позволял последнему налагать жестокие наказания на его противников, но сам как бы устранился от участия в этих карах, а иногда даже старался явно или тайно облегчить участь наказанных, упрашивая, например, Никона не расстригать Аввакума или скрывая от патриарха пребывание в Москве Неронова после бегства его из Кандалашского монастыря. При всем теоретическом сознании нужды в преобразованиях вкусы и привычки Алексея Михайловича тянули его к московской старине, и он пытался, всегда, впрочем, безуспешно, примирить их. Теперь представитель этой старины являлся подле него, озаренный новым светом мученика за свои идеи, и притом в такой момент, когда царь окончательно разошелся и вступил в упорную вражду с патриархом, втянувшим его на путь преобразований в церковной сфере. Вид Аввакума должен был привести ему на память те далекие, полные мира и невозмутимого спокойствия дни, когда еще не было никаких церковных раздоров, когда вокруг дворца группировался кружок ревнителей благочестия, соединявший в себе многих из тех людей, которые теперь стали ожесточенными врагами. И под влиянием этих разнообразных впечатлений царь как нельзя более милостиво принял возвращенного из

ссылки протопопа. “Государь, – рассказывал впоследствии Аввакум об этом свидании, – меня тотчас к руке поставить велел и слова милостивыя говорил: здорово ли де, протопоп, живешь? еще-де видаться Бог велел! И я сопротив руку его поцеловал и пожал, а сам говорю: жив Господь, жива душа моя, царь-государь; а впредь что изволит Бог! Он же, миленький, вздохнул, да и пошел, куды надобе ему. И иное кое-что было, да что много говорить! Прошло уже то!” Повидавшись с Аввакумом, царь приказал поместить его в Кремле в Новодевичьем подворье и каждый раз, отправляясь куда-нибудь мимо его двора, испрашивал у протопопа благословения.

В свою очередь Аввакум не замедлил воспользоваться благоволением царя и вскоре по возвращении подал ему пространную челобитную. “Государь наш свет! – писал он здесь, – что ти возглаголю, яко от гроба возстав от дальняго заключения, от радости великия обливаясь многими слезами, – свое-ли смертоносное житие возвещу тебе-свету или о церковном раздоре реку тебе-свету? Я чаял, живучи на востоке в смертех многих, тишину здесь в Москве быти, а ныне увидал церковь паче и прежняго смущенну”. Рассказав про чудо, происшедшее при его проезде в одной из тобольских церквей и явившееся знамением ереси, заключающейся в исправленных Никоном книгах, протопоп указывал царю на мор, бывший перед тем в России, как на небесную кару за эту ересь и продолжал: “Добро было при протопопе Стефане, яко вся быша тихо и немятежно ради его слез и рыдания и не гордаго учения: понеже не губил Стефан никого до смерти, якоже Никон, ниже поощрял на убиение”. Немедленно вслед за этим Аввакум начинал указывать ереси Никона. “Вем, яко скорбно тебе, государю, от доуки нашей, – замечал он, прерывая свое изложение. – Государь-свет, православный царь! Не сладко и нам, егда ребра наши ломают и, развязав, нас кнутьем мучат, и томят на морозе голодом. А все церкви ради Божия страдаем”. И, как бы для иллюстрации этого положения, Аввакум рассказывает историю собственных страданий, сперва от недовольных прихожан в Лопатицах и Юрьевце, а потом от Никона и Пашкова, мимоходом замечая: “Не челобитьем тебе, государю, реку, ниже похвалою глаголю... истинну-бо реку. Яко ты наш государь, благочестивый царь, а мы твои богомольцы: некому нам возвещать, како строится в твоей державе”. Перечислив вынесенные бедствия, Аввакум вновь возвращался к Никону и его еретическим новшествам. “Многие ево боятся, – говорил он, – а протопоп Аввакум, уповая на Бога, ево не боится. Твоя государева – светова воля, аще и паки попустишь ему меня озлобить: за помощию Божию готов и дух свой предать... А душа моя прияти ево

новых законов незаконных не хочет. И в откровении ми от Бога бысть се, яко мерзок он пред Богом, Никон”. Ереси Никона многочисленны и велики: “Христа он, Никон, не исповедует в плоть пришедша; Христа не исповедует ныне царя быти и воскресение его, яко иудеи, скрывает; он же глаголет неистинна Духа Святаго; и сложение креста в перстех разрушает; и истинное метание в поклонех отсекает, и многих ересей люди Божия и твоя наполнил”. “Время, – заключал Аввакум, – отложить служебники новые и все его Никоновы затейки дурныя. Потщися, государь, исторгнути злое его и пагубное учение, дондеже конечная пагуба на нас не прииде”.

Своей челобитной Аввакум в известной мере удовлетворял ожидания бояр: трудно было бы отыскать более строгого обвинителя, более непримиримого врага патриарха. Но эта вражда, хотя и поддерживаемая личным озлоблением, носила все же по преимуществу принципиальный характер и шла слишком далеко: нападая на Никона, протопоп требовал отмены всех его “затеек”, замены исправленных книг старыми, восстановления прежних обрядов, отмененных или преобразованных патриархом, словом, являлся представителем известного направления, а не личным врагом Никона. Такие требования не входили в желания большинства бояр, не мог на них согласиться и Алексей Михайлович, слишком далеко зашедший по пути реформы, чтобы иметь еще возможность вернуться назад. Впрочем, на первый раз обнаружившееся различие во взглядах не повело за собою явного столкновения, так как расположение царя и бояр к протопопу было слишком сильно, им слишком горячо хотелось удержать при себе этого строгого ревнителя благочестия. Поэтому, обходя молчанием ту общую программу действий, какую выставил Аввакум, его попытались склонить к уступчивости путем лично ему оказываемых льгот и пожалований. В последних недостатка не было: царь, царица, многие бояре и духовные власти прислали протопопу от себя денег и припасов, от имени Алексея Михайловича ему обещано было место сперва духовника царского, затем – что гораздо более привлекало Аввакума – справщика на Печатном дворе, и в то же время царь прислал Родиона Стрешнева уговаривать Аввакума, чтобы он молчал и прекратил свои проповеди против церкви, по крайней мере, до собора, который обсудит дело никоновской реформы. Протопоп, тронутый лаской, прельщаемый надеждой, что ему будет поручено исправление книг, действительно как будто успокоился.

Он зажил в Москве, дожидаясь того времени, когда ему будет, наконец, позволено приступить к делу восстановления церковной чистоты, и в ожидании сперва распространял свое учение лишь путем частных бесед и

знакомств. Почти безвыходно жил он в доме духовной своей дочери, боярыни Федосьи Прокопьевны Морозовой, наставляя в вере ее и сестру ее, княгиню Евдокию Урусову, бывал у Анны Петровны Милославской, познакомился и сблизился с князем Иваном Хованским, с Юрием Алексеевичем Долгоруким и иными. Могучая фигура страдальца протопопа и в этом кругу высшего московского общества на многих производила сильное впечатление. “Отец Аввакум,– говорила впоследствии Морозова, выражая это впечатление,– истинный ученик Христов, понеже он страждет за закон Владыки своего и сего ради хотящим Богу угодити довлеет учения его послушати”. Многие из этих знакомцев протопопа сделали и его ревностными последователями, вместе с ним ужасались проникшей в недра русской церкви ереси и готовились бороться с ней, но не было у него другой такой горячей сторонницы, как Морозова. Молодая вдова, богатая и знатная, она еще раньше знакомства с протопопом все свои душевные силы отдала на подвиги благочестия в духе московской старины: окруженная громадной свитой слуг, количество которых в ее доме заходило за 200 человек, имея 8 тысяч душ крестьян, она пользовалась этим богатством только для того, чтобы щедрой рукой раздавать его неимущим, постоянно держала у себя в доме много убогих и нищих, а сама истязала плоть постом и молитвой и втайне от людей носила власяницу. На фанатическую проповедь Аввакума эта пылкая женщина отозвалась всем сердцем и вся ушла в созерцание объявленной России ереси и в борьбу с нею путем споров в знакомых домах с “никонианами”. А таких споров много велось тогда в Москве, и нередко приходилось участвовать в них и самому Аввакуму, особенно в доме Ртищева.

Один из первых распространителей богословского образования в Руси XVII века и сторонников реформ Никона, Д. И. Ртищев, был человеком набожным, но далеко не фанатиком, кротким по натуре и противником насильственных мер по принципу. Он принадлежал к той группе лиц среди разъединившегося московского общества, которая держалась примирительного направления и, будучи более близка к новшествам, не хотела, однако, вводить их силой, а надеялась искоренить церковный раздор посредством убеждения. Сам Ртищев, мечтая устроить “церковное благочестие тихо и немятежно”, много рассчитывал на образование, для распространения которого немало было им и сделано. В его московском доме собирались киевские монахи, отчасти им же и приглашенные в Москву, бывали различные русские духовные и светские люди, приверженцы и противники преобразований, и здесь между ними постоянно происходили оживленные прения, в которых большое участие

принимал и сам хозяин, живо интересовавшийся религиозными вопросами. Аввакума Ртищев давно знал и, разойдясь с ним во мнениях, не переставал ценить в нем его строгое благочестие и нравственную стойкость и не терял надежды примирить его с церковью. Со своей стороны, Аввакум часто хаживал в дом Ртищева, где познакомился и с новым лицом, появившимся тогда в Москве, с киевским монахом и учителем царских детей – Симеоном Полоцким. Между новыми знакомцами постоянно велись споры “о вере и о законе”, во время которых Аввакум, по его собственному выражению, немало “шумел” и энергически “бранился с отступниками”. Но беседами с отдельными лицами и кабинетными богословскими спорами он не мог удовлетвориться: этому препятствовал и его собственный характер, и настроение, царившее в окружавшем его обществе и невольно сообщавшееся ему самому. Не смог он поэтому сдержать и данное царю обещание: его подхватила и унесла вперед волна движения, происходившего в согласии с его общими взглядами, но не считавшегося с его тактическими соображениями.

Раздор между царем и патриархом, не имевший в своем происхождении ничего общего с раскольничьим движением, не остался, однако, без косвенного влияния на это последнее. Выпущены были из заточения некоторые из вождей ревнителей старины, несколько ослаблено было гонение на других, и у противников Никоновских реформ явилась надежда, что с падением злейшего их врага и гонителя восторжествует и самое их дело. Сообразно этому, движение, перед тем наружно как бы притихшее и развивавшееся лишь под покровом тайны, вновь оживилось и дало о себе знать: ревнители старины спешили усилить свою пропаганду и доконать бывшего патриарха, и одно за другим появлялись их сочинения, направленные в защиту старых книг и обрядов, одна за другою приходили к царю челобитные об окончательном низвержении нечестивого патриарха, увлекшего Россию от правой веры на путь ереси и гибели. Начавшись еще до приезда Аввакума в Москву, эта усиленная пропаганда продолжалась и после того, все более и более разрастаясь. Но в этих новых проявлениях движения ясно сказывалось уже и изменение его характера сравнительно с моментом первоначального его возникновения. Прежних вождей того кружка, из которого впервые пошло это движение, уже не было в числе его деятелей: Вонифатьев, с самого начала раздора с Никоном поведший себя очень нерешительно и двусмысленно, умер еще до возвращения Аввакума из Даурии. Неронов отступился от общего дела и присоединился к церкви, и с выбытием из рядов противников реформы этих двух наиболее влиятельных людей, служивших представителями

умеренного направления, в движении взяла перевес крайняя партия. Тогда как Неронов и Вонифатьев ратовали преимущественно против личности Никона, готовы были пойти на кое-какие уступки и уклонялись от прямой борьбы с авторитетом вселенской церкви, их бывшие приятели, оставшиеся верными своему направлению, выдвинули вперед его принципиальную сторону и, резко отказываясь от всякого соглашения, готовились к непримиримой борьбе. Так, первым результатом гонения, поднятого на ревнителем старины, было усиление в их среде крайней группы и выступление ее на первый план. Но среди людей, составлявших эту группу, не было еще таких, которые пользовались бы тою же известностью и влиянием, как бывшие вожди московского братства, и потому место идейного главы движения до времени пустовало.

При таких-то обстоятельствах в Москве появлялся Аввакум и становился почти в такие же близкие отношения к царю, приобретал такие же широкие связи среди боярства, как прежде Вонифатьев и Неронов. Собственно его деятельность с момента первого столкновения с патриархом все время происходила в русле крайнего направления, и притом на его славе поборника благочестия не было ни одного пятна, его нельзя было упрекнуть ни в малейшем отступлении от проповедуемых им идей: он вынес свой тяжелый десятилетний искуc и вышел из него без перемены. Этот искуc возвышал его над всеми остальными раскольниками: никто не пострадал тяжелее его, и никто не выказал большой энергии в перенесении страданий и большей смелости в распространении своего учения. В связи с видным положением, занятым теперь Аввакумом в московском обществе, и многочисленными знакомствами, заведенными им почти по всей России, от Москвы до Сибири, его слава проповедника старой веры и мученика за нее привела к тому, что в глазах ревнителем старины он оказался впереди всех других предводителей раскола, совершенно уже затмевая собою личности первых его начинателей. К протопопу с разных сторон обращались за советами и разъяснениями в делах веры, у него искали утешения и поддержки в минуту сомнения и колебания, от него добивались практических указаний и советов, как держать себя оставшимся в правоверии с никонианами, как обходиться с их духовенством, и, по мере того, как все чаще делались такие обращения, он независимо от своей воли становился в почетное и ответственное положение главы людей, отторгшихся от никонианской церкви.

Но если это положение создавалось для Аввакума даже помимо его воли, то и он, в свою очередь, не думал уклоняться от роли “сильного Христова воеводы против сатанина полка”. Напротив, присмотревшись к

борьбе различных направлений в московском обществе и получив с разных сторон запросы, свидетельствовавшие об ощущаемой нужде в духовном руководстве, он не воздержался от искушения самому броситься в эту борьбу и смело взял на себя роль такого руководителя. Так как устная проповедь в тех условиях, в которых он жил теперь в Москве, не могла принять особенно широких размеров, то он прибег и к письменной пропаганде, пустив в обращение написанные им сочинения против никониан. В этих сочинениях, как и в устной речи, он обвинял Никона, а за ним и всех, принявших исправленные при нем книги, в многочисленных и жестоких ересьях. Такую ересь протопоп усматривал в изменении слов символа веры, как он читался в старых русских книгах: “его-же (Христа) царствию несть конца” на чтение “не будет конца”, изменении, давшем ему повод говорить, что никониане не признают Христа царем мира в настоящее время; точно так же по поводу вставленного в старых книгах и выброшенного при исправлении слова “истинна” о Св. Духе протопоп утверждал, будто никониане “Духа Святого не истинна глаголят быти”. Защищая двоеперстие и земные поклоны, он одновременно жестоко нападал на никоновских справщиков книг, упрекая их, что “они пожирают стадо Христово злым учением и образы нелепо носят отступнические, а не природы наши словенскаго языка”, называя их отщепенцами и униатами за то, что они ходят “в рогах” вместо обыкновенных “словенских скуфей”, наконец, уверяя даже, что “они не церковным чада, а диаволя”. В тех храмах, учил далее протопоп, где служба происходит по вновь исправленным книгам, нет настоящего богослужения: там “поют песни, а не божественное пение, по латини, и законы и уставы у них латинские, руками машут, и главами кивают, и ногами топчут, как обыкло у латинников, по органом”. Наконец, Аввакум проповедовал, что и священники, принявшие исправленные служебники и совершающие по ним богослужение, не истинные пастыри, и учил не повиноваться им и не принимать от них причащения. Эти проповеди и писания Аввакума имели большой успех среди населения Москвы и многих отторгли от церкви, но сам протопоп ими еще не удовлетворялся.

Видя, что время идет, а власти не принимают никаких мер к восстановлению старой веры, Аввакум сделал новый решительный шаг и подал опять Алексею Михайловичу челобитную, в которой просил, “чтобы он старое благочестие разыскал... и на престол бы патриаршеский пастыря православнаго учинил вместо волка и отступника Никона, злодея и еретика”. Вместе с тем, Аввакум требовал смены всех главнейших православных иерархов и замены их другими, из числа ревнителей раскола,

причем называл и имена намеченных им кандидатов. Царь принял челобитную, но с той поры “кручиновать стал” на протопопа. Действительно, заключающиеся в ней просьбы как нельзя полнее раскрывали всю наивность расчетов благодушного, боявшегося резкого, бесповоротного разрыва Алексея Михайловича на примирение с Аввакумом путем предоставления ему видного положения в церковной иерархии и всяких других милостей. Для протопопа, как оказывалось, всего важнее было торжество его взглядов и потому он, пренебрегая всеми выгодами царской дружбы, открыто становился во главе партии, враждебно настроенной против существующей церковной иерархии, и, переводя вопрос на принципиальную почву, принуждал царя не только выбрать ту или другую сторону в нем, но и принять соответствующие практические меры. Такой выбор был уже сделан Алексеем Михайловичем заранее, и, выступая с решительным отказом от соглашения, Аввакум тем самым подписывал себе приговор. К тому же в это время и от церковных властей стали поступать к царю жалобы на него, что он своею деятельностью многих людей в Москве отвратил от церкви. Сам же Аввакум, прослышав про неудовольствие царя, подал ему еще челобитную, наполненную обличениями пороков и ересей приезжих греков и высшего московского духовенства. При всем своем желании удержать Аввакума при себе, и Алексей Михайлович увидел, наконец, как неосновательны были надежды на примирение его с церковью, понял, что он не Неронов и не отступится от затеянного дела, и, скрепя сердце, прислал ему через боярина Петра Салтыкова свой приказ: “Власти на тебя жалуются: церкви-де ты запустошил; поедь в ссылку опять”. Местом ссылки протопопа на этот раз назначен был Пустозерский острог, и 29 августа 1664 года, приблизительно через полгода по возвращении Аввакума в Москву, его с семьей вывезли в новую дорогу.

Недолго, таким образом, продолжалась жизнь протопопа в Москве, немного пришлось ему и ратовать здесь за старую веру. Через какие-нибудь шесть месяцев свободной жизни уже начиналась для него далекая ссылка, снова глянула ему в глаза северная зима с ее морозами и вьюгами, с ужасами дальнего и тяжелого пути. Перед ними дрогнуло сердце даже этого закаленного в бедствиях человека, и из его усталой груди в первый и в последний раз вырвалась мольба о пощаде. С дороги, из Холмогор, он отправил к царю новую челобитную, не поднимавшую уже никаких общих вопросов; “Христоробивому государю, царю и в. кн. Алексею Михайловичу, – гласило это короткое послание, – бьет челом богомолец твой, в Даурех мученой протопоп Аввакум Петров. Прогневал, грешной,

благоутробие твое от болезни сердца неудержанием моим, а иное тебе, свету-государю, и солгали на меня, им же да не вменит Господь во грех! Помилуй, равноапостольный государь-царь, робятишек ради моих умилосердися ко мне! С великою нужею доволокся до Холмогор; а в Пустозерской острог до Христова Рождества невозможно стало ехать, потому что путь нужной, на оленях ездят. И смущаюся грешник, чтоб робятишки на пути не примерзли с нужи”. Прося позволения остаться в Холмогорах или в каком-нибудь другом, не столь далеком, как Пустозерск, месте, Аввакум заканчивал челобитную горьким воплем измученного страдальца: “И в Даурской земле у меня два сына от нужи умерли. Царь-государь смилуйся”.

В конце ноября один из учеников Аввакума, юродивый Киприан, передал его челобитье государю. Не дремали и московские друзья протопопа. Дьякон Федор подал было челобитную об его освобождении царскому духовнику, но тот не принял ее и Федору “в глаза бросил с яростию великою”. Вернее оказался другой путь – через бывшего протопопа Ивана Неронова, теперь старца Григория. Этот путь был еще облегчен тем, что Алексей Михайлович не забыл о ссыльном протопопе и, чтобы иметь повод к смягчению его судьбы, “сам приказал старцу Григорию написать маленькую челобитную о свободе” Аввакума. 6 декабря Неронов и подал такую челобитную, в которой, оправдывая своего приятеля, просил не отправлять его в Пустозерск, а позволить поселиться вместе с ним в Игнатиевой пустыне на Саре. Эта просьба не была исполнена, но наказание Аввакуму все-таки уменьшили, отправив его лишь на Мезень, где он жил, пользуясь некоторыми удобствами и не подвергаясь особым стеснениям. Неизвестно, какие именно приказания даны были из Москвы насчет его содержания, но на деле он постоянно обменивался письмами со своими московскими единомышленниками, некоторые из них и приезжали к нему, а один даже жил у него около четырех недель.

В этих сношениях своих с московскими товарищами Аввакум особенно старался поднять ослабевшую в их среде бодрость духа. Сам он скоро оправился от первого впечатления неожиданной ссылки и возвратил себе всю присущую ему энергию, но на многих его единомышленников эта неудача попытки прямой борьбы с церковной иерархией произвела гораздо более подавляющее впечатление. Благодаря ей у многих из них поколебалась и вообще надежда на успешный исход немедленной борьбы и ослабело стремление к последней; многие даже из тех, которые перед этим сами деятельно вели пропаганду в интересах старой веры, теперь готовы были отступить от открытого столкновения с никонианами, опасаясь его

невыгодных последствий, и, таким образом, среди раскольничьей общины в Москве взяла опять перевес партия более умеренных и осторожных людей, не желавших до поры, до времени заявлять о своем существовании. А между тем дело Аввакума вновь обратило внимание властей на ревнителем старины и вызвало усиленное их преследование. По этому поводу среди них началась распря, раздалась жалобы на Аввакума, что он только вредит общему делу, дразня еретиков: некоторые, наиболее раздраженные, даже писали и говорили самому протопопу, что лучше было бы ему умереть в Даурии, чем приезжать в Москву. Ввиду такого настроения товарищей Аввакуму приходилось одновременно и возбуждать в них большую ревность к защите общего дела и оправдывать свои личные действия, и с этой целью он отправил в Москву послание “игумену Феокисту и всей братии”.

“Я в Москву приехал прошлаго году не самозван, – писал он здесь, – но призван благочестивым царем и привезен по грамотам. Уж то мне так Бог изволил быть у вас на Москве. Не кручиньтесь на меня, Господа ради, что моего ради приезда страждете”. Так смиренно по виду приняв обвинения, направленные на него лично, он тем резче выступил против сказавшегося в них малодушия. “Отче, – писал он, обращаясь к Феокисту, – что ты страшлив? Феокист, что ты опечалился? Аще не днесь, умрем же всяко. Не малодушествуй: понеже наша брань несть к плоти и крови. А что на тебя дивить? Не видишь, глаза у тебя худы. Рече Господь: ходяй во тме, не весть, камо грядет. Не забреди, брате, с слепых тех к Никону в горкой Сион! Не сделай беды, да не погибнешь зле! Около Воскресенскова ров велик и глубок выкопан, прознаменуя ад: блюдиися, да не ввалишься и многих да не погубиши”. Возбуждая, таким образом, энергию своих более умеренных товарищей и прямыми увещаниями, и ободрением, и угрозами, что они, заходя чересчур далеко по мирному пути, рискуют впасть в никонианство, протопоп не забывал и непосредственных практических интересов их в положении данной минуты и в этих видах передавал им ряд наставлений, советуя бегать и скрываться от никонианских властей, а сам, в свою очередь, просил присылать ему сведения о московской жизни. Об одном только человеке просил он приятелей не сообщать ему ничего, именно о Неронове. Как далеко ни разошелся Аввакум с этим человеком, перед которым он некогда преклонялся, которого считал своим вождем и наставником, но старая дружба, заставившая старца Григория вступить за Аввакума в минуту его беды, не исчезла и из сердца бывшего юрьевецкого протопопа и чересчур больно было ему слушать брань и хулу на Неронова из уст людей, не стоявших к последнему так близко, как он в прежние,

более счастливые годы. “Про все пиши, – наказывал он тому же Феокисту, – а про старцово житье не пиши, не досаждай мне им: не могут мои уши слышать о нем хульных словес ни от ангела. Уж то грех ради моих в сложении перстов малодушествует. Да исправит его Бог, – надеюсь”.

Заботясь о московской общине, о поддержании в ней бодрости и о спасении отдельных ее членов из рук властей, Аввакум не упускал из виду и той местности, в которой ему теперь пришлось побывать. По-прежнему по всем городам и селам, через которые его провозили, раздавалась его смелая проповедь, всюду он сурово обличал никонианство и учил народ твердо стоять за древнее благочестие. Полтора года провел он таким образом в ссылке, всецело отдавшись деятельности проповедника и организатора раскола, “словесных рыб промысля”, а тем временем над его головой и над головами его единомышленников собиралась последняя, роковая гроза.

ГЛАВА V. СОБОР 1666—1667 ГОДОВ

Самое начало церковных исправлений при Никоне ознаменовано было двумя приемами, посредством которых хотели освятить эти исправления, придав им полный и безусловный авторитет православия. Один из таких приемов заключался в созыве соборов русского духовенства для постановлений об исправлении книг и обрядов и наблюдения за ним, другой – в обращении за советами и справками по сомнительным вопросам к православным вселенским патриархам; оба они практиковались одновременно и параллельно, но ни тот, ни другой не предупредили и не обуздали церковных раздоров. По мере же того, как церковное расстройство все увеличивалось, и отношения различных партий все более обострялись и осложнялись, все сильнее ощущалась и нужда в новом, более действенном средстве для устроения церковных неурядков, и такое средство нашли в соединении обоих употреблявшихся ранее приемов, в созыве в Москву собора, но уже не русского только, а вселенского, с участием если не всех, то хоть некоторых вселенских патриархов. Мысль об этом появилась первоначально в форме предположения об устройстве суда патриархов над Никоном, но вскоре она приняла более широкие размеры, и новому собору задумали передать решение обоих важных дел, волновавших русскую церковь, как спора между царем и патриархом, так и распри между православными и раскольниками, рассчитывая, что его авторитет будет достаточен для разрешения обоих запутавшихся вопросов и что собор окончательно укажет государственной власти тот путь, которого следует в них держаться. К 1666 году была выработана и практическая форма осуществления этого плана: в этом году именно созывался собор русского духовенства, который должен был заняться делом раскольников и решить его, а к следующему году на собор приглашались патриархи александрийский и антиохийский, которым предстояло разобрать дело Никона и вместе произнести окончательный приговор по поводу раскольничьего движения. Этим путем перед теми из ревнителей старины, которые отвергли уже авторитет русской иерархии и отдельных патриархов, ставился авторитет всей современной им вселенской церкви, грозивший им конечным осуждением.

В феврале 1666 года открылись заседания собора, и к этому времени из разных мест привезли в Москву находившихся в заточении или ссылке раскольников; к 1 марта привезен был сюда и Аввакум с двумя сыновьями,

Иваном и Прокопием, тогда как остальная его семья была оставлена в Мезени. Теперь, перед лицом последнего, решительного испытания, долженствовавшего окончательно определить судьбу как всего движения, так и отдельных его представителей, раскольники явно распались на две группы. Одни из них, проникнутые лишь сомнением относительно реформ Никона, не предрешали бесповоротно вопроса об их неправоверии и готовы были пойти на убеждение, выслушать и оценить, более или менее спокойно и беспристрастно, доводы защитников церковной реформы. К ним примыкали такие люди, убеждения которых были гораздо прочнее обоснованы в их теоретическом сознании, но которые отступали перед последовательным проведением этих убеждений на практике из чувства страха, вытекало ли последнее из смутно чувствовавшегося еще уважения к авторитету вселенских патриархов или сводилось оно к боязни перед мерами светской власти. Соответственно этому люди данной группы и вели себя перед собором: они или искали убеждения, или, по крайней мере, поддавались ему. Так епископ вятский Александр, раньше восстававший против реформ Никона, обратился к членам собора за разъяснением своих сомнений и, получив доказательства правоверности изменений, произведенных в церковных книгах и обрядах, был убежден этим и “стал поборать не по мятежницех, но по истине”. Так “предста волею” пред собором иеромонах Сергей, числившийся до того в рядах раскольников, и подал покаянное писание, свидетельствуя о перемене своего взгляда на исправленные книги: “ныне уверихся, – говорил он, – добрым уверением от древних рукописных славянских святых книг, паче же греческих”. Равным образом и некоторые другие из раскольников перед лицом собора отступились от своих убеждений, иные искренне, иные лишь по наружности. Но рядом с этими колебавшимися людьми стояли и другие, твердо решившиеся вести дело до конца, слишком фанатически преданные ему, чтобы можно было думать о воздействии на них путем убеждения, и слишком крепкие духом, чтобы отступить перед грозившею опасностью. Последовательно проводя основной принцип своей деятельности, заключающийся в сохранении русского правоверия, которое противопоставлялось всякому другому, эти люди не отступали перед отрицанием авторитета вселенских патриархов, в их глазах имевшего крайне сомнительную ценность. При этом, будучи вполне уверены в правоте своих идей, они не видели никакого среднего пути между полной их победой и решительным поражением и, не надеясь уже в данное время на первую, заранее готовились к мученичеству. На этой группе сосредоточивался весь жгучий интерес настоящей минуты, на нее

обращена была вся ненависть врагов раскола и все симпатии его явных и тайных сторонников. Среди самой же этой группы наиболее видным лицом являлся Аввакум, занявший положение ее главного вождя.

По привозе Аввакума в Москву церковные власти попытались было склонить и его путем увещаний к примирению с церковью, но эта попытка не имела никаких результатов, и вслед за тем протопоп был отведен в Пафнутьев монастырь, верст за 90 от столицы, и отдан там под начало. Время от времени сюда приезжали от собора духовные лица уговаривать Аввакума смириться и принести покаяние в своих заблуждениях. Но даже среди самих этих увещателей находились порою люди, втайне разделявшие его взгляды и видевшие в нем мученика за истину, подражать которому они сами отказывались лишь по недостатку нравственной силы. Присланный от собора к Аввакуму ярославский диакон Козма перед людьми уговаривал его покориться, а наедине увещевал мужественно стоять за свои убеждения. “Протопоп! – говорил он в этих тайных беседах, – не отступай ты от старого того благочестия! Велик ты будешь у Христа человек, как до конца претерпишь! Не гляди на нас, что погибаем мы!” Аввакум, впрочем, и не нуждался в этих сочувственных советах и наставлениях, чтобы остаться верным своим взглядам. Все уговоры присоединиться к “никонианам” не производили на него никакого действия, на все доказательства несправедливости его мнений относительно порчи церковных книг и обрядов он отвечал упорными возражениями и бранью, и таким образом десять недель прошло в безуспешных попытках смирить непокорного протопопа путем словесных увещаний и монастырского начала, пока, наконец, власти не отчаялись в возможности прийти к какому-нибудь соглашению с ним. Его привезли обратно в Москву и 13 мая поставили на суд собора. Но и тут он, говоря словами официального акта, “покаяния и повинения не принес, а во всем упорствовал, еще же и освященный собор укорял и неправославными называл”. Тогда собор постановил лишить его сана, и это решение было исполнено в тот же день: в соборной церкви Аввакум, вместе с диаконом Федором, был расстрижен и предан проклятию как еретик. И теперь еще он нашел себе защитников, даже в самой царской семье: царица Марья Ильинична пыталась отстоять его от предстоящего унижения, и по этому поводу было у нее “великое нестроение” с Алексеем Михайловичем, который не находил более возможным вступаться за протопопа. Однако окончательное решение судьбы Аввакума, равно как и других вождей раскола, было отложено до приезда патриархов, а пока постановили опять заключить его в монастырь. На этот раз местом такого заключения избран

был Угрешский монастырь св. Николая, куда уже 15 мая и отправили Аввакума под конвоем стрельцов. При этом, опасаясь проявлений симпатий со стороны народа к расстриженному протопопу, его везли ночью и не прямой дорогой, а в объезд— “болотами да грязью”.

Опасения эти были не лишены основания. Не говоря о том, что и в самой Москве, и в ее окрестностях в это время было уже много явных и тайных раскольников, видевших в Аввакуме своего главного вождя, могучая фигура стойкого страдальца привлекала к себе порою сочувственное внимание даже лиц, не разделявших тех взглядов, за которые он выносил страдания. И среди начавшейся уже борьбы далеко не всем еще в обществе были ясны не только конечные ее результаты, но и глубокое различие борющихся партий. Ввиду этого обстоятельства и люди, вполне искренне и сознательно ставшие на сторону никоновских реформ, могли, однако, находить у себя много общих точек соприкосновения с заклятым врагом Никона, Аввакумом, и видеть в последнем многие родственные себе черты. С другой стороны, многие из тех, которые ступили на путь реформ, толкаемые силою внешних условий, далеко не огляделись еще в новом своем положении и не разорвали всецело с прежним мирозерцанием, не отказались от многих входивших в его состав взглядов, ярким выразителем которых являлся Аввакум. При такой неустойчивости и неопределенности общественного настроения, при том условии, что резкое разделение на партии только еще начинало приобретать себе общее признание, популярность Аввакума, покоившаяся как на мужественном перенесении им гонений, так и на его нравственных качествах и строгой жизни, распространялась на обе партии, и ее не уничтожил и не замкнул в более определенные границы даже последний решительный шаг церковной иерархии по отношению к нему.

Благодаря этой популярности, не успели привезти расстриженного протопопу в Угрешский монастырь, как следом за ним направились туда многочисленные посетители. Сам царь приезжал в обитель и ему уже “дорогу было приготовили, насыпали песку”, но он не решился зайти к Аввакуму, а только “около темницы походил и, постонав, опять пошел из монастыря”. Посетили последний и некоторые бояре, но их не допускали к заключенному. Постепенно, однако, строгость надзора за ним начала ослабевать, и если непосредственный доступ в его темницу по-прежнему оставался закрытым, то проникавшие в монастырь богомольцы получили, по крайней мере, возможность издали видеть Аввакума и даже беседовать с ним через окно тюрьмы. Этим воспользовались, между прочим, оставшиеся в Москве родственники протопопу. Два его сына, Иван и

Прокопий, захватив с собой своего двоюродного брата, Макара, под видом обыкновенных богомольцев пришли 7 июля в Угрешский монастырь и ранним утром, когда большинство населения обители еще спало, успели побеседовать с отцом. Не замедлили вскоре сказаться и плоды установившихся таким образом сношений с Аввакумом: со слов последнего стали циркулировать слухи, будто ему в тюрьме явился сам Христос с Богородицей и увещевал не бояться гонений за правое дело. Когда эти слухи, постепенно распространяясь, дошли до московских властей, они вызвали среди последних немалый переполох и смущение. Сыновья Аввакума были немедленно арестованы и после того, как на допросе подтвердился факт посещения ими Угрешского монастыря и беседы с отцом, были отосланы 10 августа в Покровский монастырь с приказанием “держать их в монастырских трудах под надзором”. Легче отделался их двоюродный брат, оставленный на свободе благодаря тому обстоятельству, что несколько москвичей дали по отцу его, Кузьме, и по нему самому поручную запись. Впрочем, и сыновья Аввакума недолго оставались в заключении, так как факт распространения именно от них слухов о видении протопопы не был установлен на следствии, а все остальное даже в глазах подозрительно настроенного по отношению к ним московского правительства не могло составить особого преступления. Уже через три недели они просили об освобождении “для всемирной радости рождения государя благоверного царевича Ивана Алексеевича” и 4 сентября действительно были выпущены на свободу с порукою, “что им соборная апостольская церкви раскольником не быть и ложных снов отца своего Аввакума никому не рассказывать”, являться по первому требованию в патриарший приказ и никуда из Москвы не уезжать.

Это следствие не прошло безрезультатно и для самого Аввакума, вызвав новую переменную в его судьбе. Из Угрешского монастыря власти решили перевести его в более отдаленное место и пресечь возможность сношений его с поклонниками и пропаганды своих учений. С этой целью он уже 3 сентября отправлен был из Угреши опять в Пафнутьев, в Боровской монастырь, а игумену последнего послана была инструкция, заключающая в себе следующие приказания: “Вы б его, Аввакума, приняли и велели посадить в тюрьму и приказали его беречь накрепко с великим опасением, чтобы он с тюрьмы не ушел и дурна никакова бы над собою не учинил, и чернил и бумаги ему не давать, и никого к нему пускать не велеть”. Первое время инструкция эта действительно исполнялась во всей своей строгости и монастырские власти в своем рвении дошли даже до того, что забили двери и окна темницы Аввакума. К счастью, – вспоминал

он впоследствии, – нашелся “доброй человек, дворянин друг, Иваном зовут, Богданович Камынин, вкладчик в монастыре, и ко мне зашел, да на келаря покричал и лубье и все без указа разломал, так мне с тех пор окошко стало и отдух”. Но и после того суровость монахов к Аввакуму еще не исчезла, и даже в первый день Пасхи ему не позволили выйти и посидеть на пороге своей кельи. Впрочем, этого рвения хватило лишь на несколько месяцев. Среди монахов Пафнутьевского монастыря, как и в других кругах тогдашнего общества, не было прочной уверенности в неправоте Аввакума. Такую уверенность сообщали им лишь приказания высших церковных властей, но она, не будучи основана на прочном внутреннем убеждении, не могла успешно выдержать столкновения с убежденной проповедью и стойким мужеством протопопа. Последний в сознании монахов постепенно обращался из послушника царской воли в мученика, терпящего за правду, и по мере того, как делало успехи такое представление, в монастыре нарастало сочувствие к Аввакуму и раскаяние в его притеснениях, тем более жгучее, что с ним, по понятиям века, почти неизбежно соединялось ожидание наказания за мучение праведника. Раз назревши, это настроение не замедлило проявиться и наружу, окруженное тем ореолом чудесного, который сопровождал в то время самые обиденные события человеческой жизни и тем более охотно соединялся со всякого рода нравственными потрясениями. Случилось одному из наиболее усердных притеснителей Аввакума в первое время, келарю Никодиму, заболеть, а затем увидеть сон, будто Аввакум исцелил его. Проснувшись и почувствовав себя действительно лучше, он немедленно отправился в темницу Аввакума, покался перед ним и, объявив, что он познал истину Аввакумова учения, просил совета, жить ли ему по-прежнему в монастыре или покинуть последний и уйти в пустыню. Аввакум не велел ему оставлять монастыря с тем условием, чтобы он, хотя в тайне, “держал старое предание отеческое”, и вместе запретил рассказывать про бывшее ему видение. Последнего приказания Никодим, однако, не исполнил и с тех пор характер содержания Аввакума существенно изменился: не только он не испытывал более притеснений от монахов, но и доступ к нему сделался, свободным. Из окрестностей сходились к нему люди за наставлениями и поучением; бывшие его ученики также не раз приходили и приезжали в монастырь, ища указания и советов у своего учителя в тяжелую годину борьбы. В числе других пришел к нему и юродивый Федор, бежавший из Рязани, куда он был отдан под начало архиепископу Иллариону, и просил совета: отдаться ли ему опять в руки никониан или скрываться и прекратить свой подвиг юродства, который мог обратить на него внимание. Аввакум

посоветовал ему последнее.

Недолго, впрочем, пришлось заточенному протопопу пользоваться этой сравнительной свободой. Восточные патриархи приехали уже в Москву, и близок был тот день, когда он должен был стать на их суд вместе с другими ревнителями старины, подобно ему отказавшимися подчиниться русской церковной иерархии. 30 апреля 1667 года его действительно вывезли из Пафнутьева монастыря в Москву. Но еще два с половиной месяца прошли с момента привоза его в столицу до появления на соборе, и за этот промежуток времени духовные власти истощили последние усилия в попытках склонить его к признанию церковных реформ. Все эти попытки остались бесполезными, встретив резкий отпор со стороны Аввакума, и в результате их выяснилась только полная невозможность соглашения между спорившими партиями. С особенной рельефностью обнаружился этот результат на самом соборе, когда духовенство, отказавшись от бесплодных попыток смирить Аввакума путем всех своих увещаний, решилось поставить его пред вселенскими патриархами. 17 июля он приведен был на заседание собора и патриархи, в свою очередь, долго, но тщетно пытались убедить его в правоте никоновских изменений. “Наконец, – рассказывает сам Аввакум, – последнее слово ко мне рекли: “Что-де ты упрям? Вся-де наша Палестина, и Серби, и Албанасы, и Волохи, и Римляне, и Ляхи, все-де трема персты крестятся, один-де ты стоишь в своем упорстве и крестишься пятью персты! – так не подобает!” И я им о Христе отвечал сице: Вселенстии учителяе! Рим давно упал и лежит невосклонно, и Ляхи с ним же погибли, до конца враги быша христианом. А и у вас православие пестро стало от насилия турскаго Махмета, – да и дивить на вас нелзя: немощни есте стали. И впредь приезжайте к нам учитца: у нас, Божию благодатию, самодержество. До Никона отступника в нашей России у благочестивых князей и царей все было православие чисто и непорочно и церковь немятежна”.

Ярко и полно сказалось в этом ответе воззрение, которое еще так недавно решительно господствовало в жизни московского общества и в силу которого Москва ставилась единственным образцом правильного церковного и гражданского устройства. Не ей, успевшей сохранить у себя и православие, и внешнюю независимость, предстояло у кого-нибудь учиться; к ней должны были обращаться за поучением народы, и в том числе прежде всего те, которые еще называли себя православными. При такой постановке вопроса и самый спор об обрядах, независимо даже от той важности, какая непосредственно приписывалась им в сознании современников, приобретал новое и громадное значение и об уступках, о

добровольном подчинении со стороны ревнителей старины не могло быть и речи. Если такие уступки еще возможны были до некоторой степени при первых деяниях раскола, когда личные интересы и мелкие вопросы церковной практики в значительной мере заслоняли собою главные различия сторон, то теперь, когда создавшаяся и укоренившаяся в годы гонений крайняя фракция раскола с Аввакумом во главе выдвинула на первый план именно принципиальную сторону вопроса и тем подчеркнула основное противоречие в воззрениях партий, никаких уступок с ее стороны не могло быть более сделано. С беспощадной последовательностью развивая до последних крайностей положения, общие у них с первыми вождями движения, члены этой фракции и в теории, и на практике решительно отвергали всякий авторитет, посторонний русской старине, и самый суд вселенских патриархов, так сильно смущавший их предшественников, у них вызывал только ироническое отношение к себе. Аввакум, устав стоять перед увещевавшим его собором, отошел к дверям и лег на пол со словами: “Посидите вы, а я полежу”. Русские духовные стали смеяться и корить его: “Дурак протопоп! И патриархов не почитает!” Эти насмешки не произвели, однако, на него никакого впечатления и вызвали с его стороны только смиренный по внешности, но, в сущности, проникнутый глубокой самоуверенностью и иронией ответ: “Мы уроди Христа ради, – говорил протопоп. – Вы славны, мы же бесчестны! Вы сильны, мы же немощны!” Об эту броню фанатизма разбивались все увещания и убеждения, и Аввакум без всякого результата был отпущен с собора и отдан опять под стражу. Точно так же непоколебимыми в своих убеждениях остались и его единомышленники, вместе с ним призванные на суд собора: протопоп Никифор, поп Лазарь, дьякон Федор и чернец Епифаний.

Еще несколько времени держали их под стражей то в самой Москве, то в ее окрестностях, то в Угрешском монастыре, продолжая в то же время убеждать смириться и признать власть патриархов и собора. Наконец 5 августа в места заключения Аввакума, Лазаря и Епифания явились посланные от царя и собора архимандриты – владимирский Филарет, хутынский Иосиф и ярославский Сергей, для снятия окончательного допроса с узников. Последним предложены были три вопроса, ответ на которые должен был окончательно определить их отношение к церкви и представлявшей ее духовной и светской иерархии. Вопросы эти заключались в следующем: православна ли русская церковь, православен ли государь Алексей Михайлович и православны ли вселенские патриархи? В ответ на них Аввакум сказал: “Церковь православна, а догматы

церковные от Никона еретика, бывшего патриарха, искажены новоизданными книгами, – первым книгам, бывшим при пяти бывших патриархах, во всем противны, в вечерни, и в заутрени, и в литургии, и во всей божественной службе не согласуют. А государь наш Алексей Михайлович православен, но токмо простою своею душою принял от Никона, мнимаго пастыря, внутренняго волка, книги, чая их православны, не рассматривая плевел еретических в книгах внешних ради браней, понял тому веры и впредь чаю по писанному: праведник аще падет не разбьется, яко Господь подкрепляет руку его. А про патриархов слышал я от братии духовных, что у них в три погружения не крестятся, но обливаются по-римски, и крестов на себе не носят, и в сложении перст знаменующеся, слагая три персты, и Христово вочеловечение отмещают, и сие есть все не православно, но противно святой соборной и апостольской церкви”.

Приблизительно такие же ответы дали на допросе и сотоварищи Аввакума по заключению. Получив их, патриархи и собор подтвердили проклятие, возложенное на раскольников в предшествовавшем году, с оговоркой, что “та клятва и проклятие возводится ныне точию на Аввакума, бывшего протопопа, и на Лазаря попа, и Никифора, и Епифанца чернеца Соловецкаго, и на Федора диакона и на прочих единомышленников и единомудренников и советников их, дондеже пробудут в упрямстве и непокорении”. После того, как учение их подверглось таким образом бесповоротному осуждению, оставалось решить судьбу его проповедников, и это решение должно было в равной мере зависеть как от духовной, так и от светской власти, одинаково теперь враждебных раскольникам.

Мы видели, однако, что Аввакум в своем ответе на вопросы, предложенные ему от имени царя и собора, неодинаково повел себя по отношению к представителям духовной и светской иерархии. Самым решительным образом осуждая Никона и всю последовавшую за ним русскую иерархию, с некоторой – весьма слабой, впрочем, – условностью распространяя это осуждение и на восточных патриархов и их церкви, он только по отношению к Алексею Михайловичу изменял свой тон. Грех царя, по его мнению, невольный и бессознательный и подлежит еще полному исправлению и забвению: “праведник, аще и падет, не разбьется”. Такая исключительная мягкость могла бы даже дать повод заподозрить Аввакума в искательстве у царя, если бы для нее не находилось другого объяснения, – в поведении самого Алексея Михайловича. Это поведение тем более любопытно, что в нем отразились не только личные черты характера царя, но и настроение известной части московского общества, очутившегося на распутье двух дорог. Алексей Михайлович упорно и

настойчиво старался примирить Аввакума с церковью и с этой целью постоянно засылал к нему разных лиц для уговоров. И после того, как надежда на такое примирение становилась все более призрачной, он не изменил своих личных отношений к бывшему протопопу, и царские посланные постоянно просили у последнего благословений царю и молитв за него. Даже тогда, когда судьба Аввакума представлялась уже почти окончательно решенной, царь еще прислал к нему сказать: “Где ты ни будешь, не забывай нас в молитвах своих”. Такое отношение и обнадеживало в значительной мере Аввакума, порождая в нем мысль, что царь от сочувствия к его личности может перейти к сочувствию его учению, и подобные ожидания вызывали в нем самом более мягкое отношение к царю, чем к кому бы то ни было другому из лагеря никониан. Но в этих ожиданиях, в свою очередь, было немало субъективного, обращавшего их в неисполнимые мечты. Алексей Михайлович любил Аввакума как человека, стоявшего с ним некогда в близких отношениях, чтит в нем строгого ревнителя и подвижника благочестия, высоко ценил его нравственную стойкость, но не разделял его мнений по поводу церковной реформы и был твердо убежден в их несправедливости. Вместе с тем, однако, он не видел в этих мнениях и той важности, какую им приписывали Аввакум и его товарищи. Для царя, без всякой внутренней борьбы соединившего в своей личной жизни московское мировоззрение со многими подробностями иноземной культурной обстановки, до некоторой степени против воли втянутого в борьбу церковных партий, оставалось непонятным фанатическое упорство бывшего юрьевоцкого протопопы, и он до последней минуты продолжал питать надежду на то, что как-нибудь удастся склонить Аввакума к уступкам и покончить миром возникший в церкви разлад, – надежду, которую разделяли с ним многие люди, еще сохранявшие более примирительное настроение и видевшие исход в компромиссе между двумя резко обозначившимися направлениями. И после того, как собор произнес уже свое вторичное осуждение над Аввакумом, Алексей Михайлович посылал еще к последнему разных лиц с тем, чтобы они увещаниями и угрозами склонили его покориться патриархам. С такими поручениями отправлены были к нему, между прочим, Артамон Матвеев и Симеон Полоцкий, но они, как и все другие, не имели никакого успеха, увещания переходили в ожесточенный спор; с Полоцким у Аввакума, говоря его словами, “зело было стазание много: разошлись, яко пьяни, не мог и поесть после крику”. Споры эти оставались, однако, совершенно бесплодными, так как противники стояли на совершенно различной почве и не могли понять друг друга. “Острота,

острота телеснаго ума! – говорил Полоцкий Аввакуму, – да лихо упрямство; а се не умеет науки”. Но именно эту-то науку, в незнании которой киевский монах упрекал юрьевецкого протопопа, последний и отрицал. Еще менее действовали на него, видевшего мученический подвиг в своей настойчивости, угрозы, какие употреблял Матвеев. “Не грози мне смертию, – возражал он последнему, – не боюсь телесныя смерти, но разве греховныя”. Наученный опытом, не поддавался он и на льстивые обещания, на ласку. “Ты ищешь, – говорил он тому же Матвееву, – в словопрении высокия науки, а я прошу у Христа моего поклонами и слезами: и мне кое общение, яко свету со тьмою или Христу с Велиаром?” И смутившийся Матвеев не нашелся ничего ответить на это кроме того, что “нам с тобою не сообщно”.

И действительно, именно “общения”, общей почвы, на которой возможно было бы соглашение между разошедшимися людьми, не оказывалось более налицо. “Пропать велика между нами и вами утвердися, – писал незадолго до этого Спиридон Потемкин одному вернувшемуся к церкви раскольнику, – яко да хотящий прейти отсюда к вам не возмугут, ниже оттуда к нам переходят”. По мере того, как сознание этой пропасти благодаря резкой постановке вопроса со стороны раскольников становилось все ярче, люди компромисса, сознательно или бессознательно примирявшие два противоположных направления, отступали на задний план, в свою очередь и с другой стороны, очищая место представителям крайней партии. Сам царь, так долго колебавшийся, должен был теперь примкнуть к этой последней и руководиться ее советами в деле раскольников. Сущность же этих советов легко было предвидеть. Обрядовая сторона и для противников раскольников сохраняла чрезвычайную важность, при которой отступление от правильности обряда равнялось ереси, отношение же к еретикам определялось как предшествовавшей практикой церкви, так и господствовавшими в обществе взглядами и нравами. Собор действительно и провозгласил раскольников еретиками, и, не довольствуясь их проклятием, объявил, что “подобает их наказывать и градскими казнями”. Эти казни не заставили себя ожидать: Лазарю и Елифаню были отрезаны языки, Аввакума царица отпросила от этой кары, но он, вместе с изувеченными товарищами своими и дьяконом Федором, был сослан в Пустозерск.

ГЛАВА VI. ЖИЗНЬ В ПУСТОЗЕРСКЕ. ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВВАКУМА. КАЗНЬ ЕГО

В последних числах августа 1667 года Аввакум и его товарищи по заточению были вывезены из Москвы и отправлены в Пустозерск. Применяя к осужденным вождям раскола эту меру как наказание за их неповиновение, правительство, вместе с тем, рассчитывало посредством ее ослабить все движение, лишив его участников непосредственной связи и возможности сношений с главными его представителями. На деле, однако, эти последние расчеты не оправдались. Как ни велико было расстояние, отделявшее Москву от Пустозерска, как ни строго стерегли в последнем присланных сюда узников, ссылка не подорвала их влияния и не отняла у них возможности вступить в сношения с оставшимися в Москве и других городах учениками и последователями. Такие сношения завязались очень скоро по прибытии ссыльных в Пустозерск, и эти люди, заключенные теперь в дальнем углу Московского государства, на первых же порах своего заключения явились не менее деятельными защитниками и пропагандистами раскола, чем и раньше, когда они находились в центре страны. Только теперь их деятельность на этой почве в силу обстоятельств была сведена к чисто литературной пропаганде: дьякон Федор сообщая с Аввакумом для поучения лиц, примкнувших к расколу, составил обличение никонианства; Лазарь написал два послания, одно к царю, другое к патриарху; наконец, Аввакум тоже изготовил два послания, оба адресованные Алексею Михайловичу, – и все это неведомые руки таинственными путями перевезли в Москву и доставили по назначению. Одно, по всей вероятности второе, из этих посланий Аввакума, написанное в 1669 году, дошло до нас и дает возможность судить о том впечатлении, какое произвела на протопопа понесенная им кара.

По выражению Аввакума, он в этом послании “последнее плачевное моление приносит царю из темницы, яко из гроба”, прося его “обратиться в прежнее его благочестие”. “Что есть ересь наша, – спрашивал он, – или кий раскол внесохом мы в церковь, якоже блядословят о нас никонианы?.. Не вемы ни следу в себе ересей коих, ниже раскольства”. Доказывая свою правоту в смысле сохранения правоверия и осуждая “богоотметника” Никона и греческую церковь, в которой “изсяче благочестие по

пророчеству святых”, Аввакум, вместе с тем, решительно отказывался иметь впредь дело с церковной иерархией и даже не винил ее особенно в происшедшем, перенося всю ответственность за осуждение и преследование ревнителей старины на царя. “Ты самодержче, – говорил он, – суд подымеши о сих всех, иже таково дерзновение им (никонианам) подавый на ны”. “Несть бо уже нам к ним ни едино слово, – повторял он в другом месте своего послания. – Все в тебе, царю, дело затворися и о тебе едином стоит”. Исключительно к царю обращался он поэтому с увещаниями и убеждениями, то отстаивая правоту своих воззрений, то связывая состоявшееся отступление от древнего русского православия с бедствиями, понесенными с того времени русской землей, то угрожая страшным Христовым судом. “Там, – обращался он к царю, – будет и тебе тошно, да не пособишь себе ни мало. Здесь ты нам праведнаго суда со отступниками не дал: и ты тамо отвешати будеши сам всем нам”. Суровый, фанатический тон этих увещаний лишь отчасти смягчался привычным любовным отношением к личности Алексея Михайловича, и теперь еще по временам пробивавшимся у сосланного протопопа. Угрожая царю в случае его упорства вечною гибелью, Аввакум тут же, однако, прибавлял: “прости, Михайлович-свет, даже бы тебе ведомо было, да никак не лгу, ниже притворяясь тебе говорю. В темнице мне, яко во гробе, сидящу, что надобно, разве смерть? Ей, тако”. Горько и язвительно упрекая Алексея Михайловича за вновь принятые меры против раскола, выразившиеся в лишении умерших раскольников церковного погребения, Аввакум и тут, однако, не проявлял так свойственного ему яростного раздражения. “Ты царствуй, – замечал он только, – многа лета, а я мучуся многа лета: и пойдем вместе в дома своя вечныя, егда Бог изволит. Ну, да хотя, государь, меня и собакам приказал выкинуть, да еще благословлю тя благословением последним”. Но личное чувство, связывавшее Аввакума с царем Алексеем, теперь смягчало лишь тон речи проповедника, не влияя на сущность его мысли. Если раньше Аввакум отделял царя от церковной иерархии, видя в нем только невольную жертву Никонова лукавства, а не активного и сознательного деятеля реформы, то теперь горький опыт уничтожил такое различие в его представлении, и вместе с тем, согласно его общему взгляду на роль царя относительно церкви, на царя в его глазах слагалась и наибольшая доля ответственности, он являлся если не главной причиной уклонения русской церкви в ересь, то, по крайней мере, главным условием успеха этой ереси и гонения на благочестивых. При таких условиях лишь весьма слабая надежда на обращение царя оставалась в душе протопопа. “Нет, государь, – проговаривался он, – болше покинуть плакать о тебе:

вижу, неисцелить тебя”.

Пустозерские узники, таким образом, не молчали, не оставались в бездействии, к какому их желали принудить. Ссылка не сломила их силы, как не порвала их сношений с последователями их учения. Она не заставила их отказаться ни от пропаганды своих мнений, ни от обличения никонианских властей, даже непосредственно обращенного к последним и принявшего еще более решительный характер, чем прежде, так как теперь оно с равной энергией обращалось и на светскую власть, раньше ими не затрагивавшуюся. Ответ со стороны последней не заставил себя ждать: из Москвы последовали новые репрессии над раскольниками, новые, по выражению Аввакума, “гостинцы” им. Гроза разразилась прежде всего над семьей Аввакума, жившей в Мезени. Кроме Настасьи Марковны с тремя младшими детьми, оставшейся здесь со времени отвоза мужа в Москву на собор, здесь жили и два старшие сына Аввакума, вернувшиеся сюда из столицы после ссылки отца; сверх того вокруг этой семьи ютились еще некоторые из бывших учеников и домочадцев протопопа, вместе с нею укрывавшиеся от гонения. Сюда-то и был отправлен из Москвы в качестве следователя и судьи полуголова Иван Елагин, ознаменовавший свое появление на Мезени самыми крутыми и беспощадными мерами. Два человека из домочадцев Настасьи Марковны, открыто исповедавшие свою принадлежность к расколу, в том числе юродивый Федор, были повешены. Та же участь грозила и старшим сыновьям Аввакума, но они не унаследовали непреклонной энергии отца и перед лицом смерти вторично отреклись от его учения. Это отречение, впрочем, спасло им лишь жизнь, но не свободу: вместе с матерью их посадили в земляную тюрьму. Только младший их брат, Афанасий, вместе с сестрами, Марией и Акулиной, остался на свободе, несмотря на то, что он не уподобился братьям и открыто объявлял себя ревностным последователем отца; должно быть, его сочли слишком еще малолетним и потому не опасным. С Мезени проехал Елагин и в Пустозерск, привезя с собою суровые наказания относительно здешних узников. После допроса, на котором они остались непреклонными в своих убеждениях, решительно отказываясь от общения с церковной иерархией и проклиная “еретическое соборище”, им объявлен был приказ московского правительства, которым повелевалось Лазарю, Епифанию и Федору отрубить правые руки и вырезать языки, а Аввакума, не подвергая такой казни, посадить в земляную тюрьму и давать ему только хлеб да воду. Это новое исключение в пользу Аввакума, явившееся, конечно, не без участия его доброжелателей при московском дворе, так раздражило его, что он хотел было уморить себя голодом, и только убеждения и просьбы

товарищей по заключению отклонили его от такого намерения.

После совершения назначенной казни над товарищами Аввакума все узники были переведены в новую, специально для них приготовленную тюрьму: в земле устроен был сруб, собственно и представлявший из себя темницу и окруженный снаружи другим срубом, выход из которого оберегался стражей. узники сидели отдельно друг от друга и только по ночам, тайно вылезая во внешнюю ограду, могли видетсья и беседовать. Более тяжелого, более жестокого заключения, казалось, нельзя было ни создать, ни даже представить себе. Удаленные на громадное расстояние от родины, отрезанные от всего внешнего мира, навеки запертые в четырех стенах своей засыпанной землею темницы, из которой они не могли сделать шагу даже для удовлетворения необходимых естественных потребностей, узники осуждены были отныне томиться как бы в могиле, и недаром Аввакум с этих пор начинает называть себя “живым мертвецом”. Но в этом заживо похороненном человеке жизненный пульс бился еще с лихорадочной быстротой и энергией, мысль еще работала с неослабевающим жаром.

И в эту тяжелую эпоху молитва и ревностное исполнение религиозных обязанностей составляли главное утешение Аввакума. В своей пустозерской тюрьме он оставался все тем же строго благочестивым человеком, истощавшим свою плоть в подвигах сурового поста и молитвенного энтузиазма. Не довольствуясь теми лишениями, какими сопровождалось тюремное заключение, он сам создавал себе еще новые, нещадно терзая себя. Переведенный в земляную тюрьму, он здесь сбросил с себя все платье, даже рубашку, и остался совершенно нагим; вместе с тем он продолжал неуклонно соблюдать весь ритуал ежедневной молитвы, нередко выстаивая на ней до полного изнеможения и потери всех сил. Один эпизод из упомянутого выше послания Аввакума ярко обрисовывает эту сторону его жизни. В Великом посту заточенный протопоп, как рассказывает он сам, по своему обыкновению, в течение всей первой недели не принимал никакой пищи; тот же суровый пост продолжал он и во вторую неделю и в половине ее ослабел уже до такой степени, что не мог вслух молиться, а только про себя повторял псалмы. Тогда с ним, по его убеждению, произошло чудо: “распространился язык мой и бысть велик зело, потом и зубы быша велики, а се и руки и ноги быша велики, потом весь широк и пространен под небесем и по всей земле распространился; а потом Бог вместил в меня небо, и землю, и всю тварь. Мне же молитвы непрестанно творящу и лествицу перебирающу в то время. И бысть того времени на полчаса и болши. И потом возставшу ми от одра легко и

поклонихся до земли Господеви”. Эти болезненные, но преисполненные неизъяснимого и жгучего наслаждения припадки, вызываемые высшую степень религиозного экстаза и знакомые всякому, кто следил за жизнью мистиков и религиозных энтузиастов, – припадки, во время которых человек утрачивает сознание своего самостоятельного существования и как бы сливается с мировым бытием, заставляли Аввакума не только забывать все ужасы тюремной обстановки, но даже дорожить ими как средством к достижению моментов неземного блаженства. “Ты владевши, – обращался он к царю, рассказав приведенный эпизод, – на свободе живучи, одною русскою землею; а мне Сын Божий покорил за темничное сидение небо и землю”.

Но не одной молитвой и аскетическими упражнениями был наполнен и теперь день ссыльного протопопа, не одни порывы религиозного экстаза прерывали на редкие моменты монотонную по внешнему виду жизнь его в земляной тюрьме Пустозерска. Его личность и здесь настолько импонировала окружающим, что сама стража, к нему приставленная, проникалась уважением к нему, и благодаря этому он внутри своей тюрьмы пользовался сравнительной свободой и мог заняться литературной деятельностью, для которой раньше находил мало досуга среди своей кипучей и многострадальной жизни. С другой стороны, многочисленные последователи раскола не жалели ни средств, ни усилий для того, чтобы завести сношения со своими заточенными собратьями и учителями и по возможности облегчить их участь. Находились такие смельчаки и ревнители веры, которые, рискуя собственной свободой и жизнью, странствовали по тюрьмам, разнося утешение и материальную поддержку сидевшим в них раскольникам; других за большие деньги нанимали доставить письмо или посылку одному из узников. При этом преимущественное внимание раскольников было обращено на Пустозерск, где находились в заточении главнейшие подвижники и столпы всей партии, и сюда особенно часто являлись такие посланцы. В свою очередь тюремная стража, то из уважения к великому подвигу страдальцев, возбуждавшему в ней невольное сочувствие и сомнение в правоте их гонителей, то соблазненная щедрым подкупом, содействовала передаче писем и посылок, открывая доступ в темницу для принесших их лиц, и таким образом установились сношения между Аввакумом и его учениками и почитателями, – сношения, определившие собою характер последующих годов его жизни.

Убогая земляная келья в Пустозерской тюрьме, где страдал и томился нагой человек, приобрела характер умственного центра широкого

народного движения, громадной волной прошедшего по всей русской земле. Сюда, в эту келью, стекались все известия, относившиеся к судьбе раскола, и находили отзвук в проповедях ее обитателя, то торжествующих, то гневных, но всегда исполненных глубокого убеждения и страстного энтузиазма. Сюда обращались за советом и поучением в делах веры, здесь искали наставления в самых разнообразных вопросах житейской практики, отсюда ждали утешения и ободрения, и в ответ на эти многообразные запросы, приходившие из разных мест России, отсюда шли послания, проникнутые нежной любовью и яростной злобой, заключавшие в себе защиту и утешение раскольников и резкое обличение никонианства, содержавшие практические указания и распоряжения насчет судьбы раскольничьих общин и отдельных их членов. Особенно деятельные сношения поддерживал Аввакум с тремя местностями – Москвой, где сосредоточивалось значительное количество раскольников, более или менее успешно укрывавшихся от преследований правительства, – Мезенью, где жила его семья, – и Боровском, куда с 1673 года сослана была боярыня Морозова вместе с сестрой своей, княгиней Урусовой. Послания пустозерского узника, часто писавшиеся им за недостатком бумаги на маленьких клочках, тщательно переписывались его поклонниками и рассылались в другие места, служа могучим орудием раскольничьей пропаганды. Благодаря обширному досугу Аввакума и сильной нужде в его произведениях, его литературная деятельность приняла весьма значительные размеры. За 14 лет пребывания в Пустозерске им было написано большое количество разного рода произведений, из которых до нас дошла его автобиография, или “Житие протопопа Аввакума”, составленное им в двух редакциях, а также несколько толкований на различные псалмы, другие сочинения догматического и полемического характера, несколько десятков посланий к разным лицам. В этих многочисленных произведениях ярко отразились как основные идеи того умственного движения, представителем которого являлся Аввакум, так и их постепенная модификация. С этой точки зрения их содержание представляет большой интерес, рельефно обрисовывая внутреннюю жизнь раскола в первые годы его существования.

Успех Аввакума в роли апостола раскола объяснялся, впрочем, не только идейным содержанием его проповеди, но и личными его свойствами как писателя и проповедника. Эти свойства его, в свою очередь, заслуживают известного внимания.

Начать с того, что Аввакум обладал значительной по своему времени начитанностью и умело пользовался ею. Правда, начитанность эта носила

односторонний характер, не простираясь за пределы Святого Писания и примыкавших к нему книг церковного характера и популярных сборников, заключавших в себе житии святых, сказания и апокрифы, но в этих пределах она была несомненна. Обладая громадной памятью, бывший юрьевецкий протопоп знал наизусть всю Псалтирь, помнил массу мест из других книг Ветхого и Нового завета и с большой ловкостью пользовался этими знаниями для подбора текстов в доказательство своих положений. Последние почти всегда имели у него вид как бы непосредственно из Писания вытекающих истин, и читателю, не в такой мере знакомому с духовной литературой и мало способному вникать в смысл приводимых текстов, должны были представляться основанными на прочном фундаменте непреложного учения церкви. Ловко подбирая и истолковывая тексты в свою пользу, Аввакум с не меньшей ловкостью нападал на своих противников. Толковал ли он Книгу Бытия, Псалмы или Премудрость Соломона, он всегда находил случай перейти к Никону и его реформе, не стесняясь тем, что такой переход являлся подчас совершенно неожиданным и неподготовленным. При этом он каждое изменение, совершенное Никоном в русских церковных книгах и обрядах, возводил в степень ереси, открывая сокровенный смысл в таких подробностях, в которых, казалось бы, ничего подобного нельзя было найти. Правда, наряду с этой начитанностью в области церковной литературы и недюжинным полемическим талантом, протопоп обнаруживал глубокое невежество, сообщая самые диковинные сведения по части истории, географии и естественных наук, но и аудитория, к которой он обращался, в громадном большинстве не ушла дальше тех же сведений, заимствованных из старинных хронографов и изборников.

Большое значение имел в произведениях Аввакума и сам язык писателя. Яркий, образный, переполненный смелыми сравнениями, отражающий в себе все оттенки чувства и настроения, то нежный, то сжатый и энергичный, часто блестящий искрами неподдельного юмора, он, вместе с тем, не заключал в себе и тени ничего искусственного, книжного, а был как бы прямо из уст народа перенесен на бумагу. Это обстоятельство делало писания Аввакума равно понятными и дорогими для знатного и образованного боярина и плохо знающего грамоту крестьянина и было особенно важно в ту эпоху, когда литература образованного общества уже стала выделяться из собственно народной. В то время, как в произведениях ученых противников Аввакума преобладала сухая, книжная форма изложения, подавлявшая читателя громадным количеством иностранных слов и массой риторических оборотов, нередко почти совсем

затемнявших смысл, язык Аввакума блещет своей простотой и удобопонятностью, лишь изредка встречаются в нем иностранные слова и везде, не исключая и сочинений догматического характера, он отличается замечательной жизненностью и энергией. Присущая ему простота выражается не только в лексическом составе его и в оборотах, но и в самом содержании, в характере тех образов и сравнений, какие подбирает писатель для уяснения своей мысли, сравнений, берущихся им из сферы самых обыденных явлений современной ему жизни и потому всегда понятных для читателя и тем сильнее на него действующих. Сообразно нравам века, простота эта часто переходила, правда, в грубость, а временами приобретала даже оттенок цинизма.

С особенною рельефностью все отмеченные черты проявляются в экзегетических произведениях Аввакума, и для иллюстрации сказанного достаточно будет привести из них два более крупных примера. Растворивая в одном из своих произведений (“Списание и собрание о Божестве и о тваре, и како созда Бог человека”) историю первых людей, как она изложена в Библии, Аввакум так рассказывает об искушении Евы змием и его последствиях:

“Змия же, отклоняся от Адама, прииде ко Евве, – ноги у нея и крылья были, хорошей зверь, красной была, докамест не своровала. И рече Евве те же глаголы, что и Адаму. Она же, послушав змии, приступи ко древу, взем грезн и озоба его, и Адаму даде: понеже древо красно видением и добро в снедь, – смоковь красная, ягоды сладкие, слова межю собою льстивья! Оне упиваются, а диявол в то время смеется. увы невоздержания! Увы небрежения заповеди Господня! Оттоле и доднесь в слабоумных человеках так же леть творится. Подчивают друг друга зелием неразтворенным, сиречь зеленым вином процеженным и прочими питии и сладкими брашны, а опосле и посмевают друг друга, упившагося допьяна. Слово в слово, что в раю было при дияволе и при Адаме. Паки Бытия: И вкусиста Адам и Евва от древа, от него же Бог заповеда, и обнажистася. О, миленькия! Приодети стало некому! Ввел диявол в беду, а сам и в сторону! Лукавый хозяин накормил, напоил да и с двора спехнул: пьяной валяется на улице, ограблен, – никто не помилует! Паки Библия: Адам же и Евва сшиста себе листвие смоковишное от дерева, от него же вкусиста, и прикрыста срамоту свою, и скрыстася, под древо возлегоста. Проспалися бедныя с похмелья, ано и самим себя сором: борода и ус в блевотине... со здоровных чаш кругом голова идет и на плечах не держится! А ин отца и честнова сын, пропився на кабаке, под рогожею на печи валяется!

Увы тогдашнева Адамова безумия и нынешних адамленков! Паки Бытия... И паки рече Господь: что сотворил еси? Он же отвеща: жена, юже ми даде! Просто рещи: на што-де мне такую дуру сделал! Сам неправ, да на Бога же пеняет! И ныне похмельныя тоже, шпыняя, говорят: на што Бог и сотворил хмелет! Весь пропился и есть нечего! Да меня же де избили всево! А иной говорит: Бог-де судит ево, – до пьяна упоил! Правится бедной, будто от неволи так сделалось, а безпрестанно желает того. На людей переводят, а сами ищут тово. Что Адам переводит на Евву”.

В другом случае, приведя евангельскую притчу о богатом и бедном Лазаре, Аввакум продолжает:

“Видите ли, братие, како смири его мука? Прежде даже пред очима не видел Лазаря гнойна; а ныне зрит издалече и мил ся деет ко Аврааму, а Лазарю говорит сором, понеже не сотворил добра ничтоже. Возми, – пойдет Лазарь в огонь к тебе с водою. Каков сам был милостив: вот твоему празднеству отдание! Любил вино и мед пить, и жареные лебеди, и гуси, и рафленные куры: вот тебе в то место жару в горло, губитель души своей окаянной. Я не Авраам, – не стану чадом звать: собака ты! За что Христа не слушал, нищих не миловал? Полно, милостивая душа, Авраам-от милинкой, – чадом зовет да разговаривает, быть-то с добрым человеком. Плюнул бы ему в рожу-ту и в брюхо-то толстое пхнул бы ногою!” (“Беседа о наятых делателях”).

Слова, несомненно, в весьма значительной степени служат отражением понятий и нравов. Однако было бы крупной ошибкой на основании приведенного счесть Аввакума грубым, жестким и циничным человеком. Данный способ выражения принадлежал не ему лично, а всей окружавшей его среде и был усвоен им из последней, составив внешнюю оболочку его произведений. Но под этой неуклюжей оболочкой часто сквозило нежное чувство, как под грубой аскетической внешностью самого писателя скрывалось любящее сердце. Как в догматических и полемических произведениях Аввакума выступают наружу его своеобразная эрудиция и недюжинные диалектические способности, как его проповедь и поучения отличаются своей простотой, меткостью наблюдений и энергией выражений, так в наставлениях, обращенных им к ближайшим своим ученикам, яркую характерную черту составляет глубоко любовное отношение к последним, поразительная деликатность в обращении с их чувствами. Он так мягко и нежно дотрагивается в этих случаях до душевных ран человека, так умеет соединить порицание и даже наказание с ободрением и поддержкой, что в нем пришлось бы признать

замечательно тонкого психолога, если бы для объяснения этой нравственной чуткости у нас не имелось более простого пути в признании его человеком с богато развитой духовной организацией, с глубоко любящим сердцем. В одном из своих посланий к Морозовой, писанном в то время, когда последняя уже томилась в боровской земляной тюрьме, он вспоминает о сыне ее Иване, который еще ребенком умер в Москве после ее ссылки и о котором мать сильно тосковала. Здесь Аввакум умеет найти самые нежные, за душу берущие выражения...

“Увы, чадо мое! – восклицает он.– Увы, мой свете, утроба наша возлюбленная, – твой сын плотской, а мой духовной! Яко трава, посечен бысть, яко лоза виноградная с плодом, к земле преклонился и отыде в вечныя блаженства со ангелы ликовствовати и с лики праведных предстоит святей Троицы. Уже к тому не печется о суетной многострастной плоти, и тебе уже неково четками стегать, и не на ково поглядеть, как на лошадки поедет, и по головки неково погладить, – помнишь-ли? как бывало. Миленький мой государь! Впоследнее увиделся с ним, егда причастил ево. Да пускай – Богу надобно так! И ты не больно о нем кручинься: хорошо, право. Христос изволил. Явно разумеем, яко царствию небесному достоин. Хотя бы и всех нас побрал, гораздо бы изрядно. С Федором (повешенным на Мезени юродивым) там себе у Христа ликовствуют,– сподобил их Бог! А мы еще не вемы, как до берега доберемся”.

Другой раз, отправляя послание в московскую общину и налагая тяжелую епитимию на одну из своих учениц, старицу Елену, за разлучение жены с мужем, Аввакум так заключает свой приговор:

“Слушай-ко, игумен Сергей! Иди во обитель Меланьи матери и прочти сие писанное со Духом Святым на соборе Елене при всех, да разумеют сестры, яко короста на ней, даже не ошелудивеют от нея и удаляются ея. А ты, Меланья, не яко врага, ея имей, но яко искреннюю. И все сестры спомогайте ей молитвами. Друг мой миленькой, Еленушка! Поплачь-ко ты хорошенко пред Богородицею-светом, так она скоренко очистит тебя. Да ведь-су и я не выдам тебя: ты там плачь, а я здесь. Дружнее дело: как мне покинуть тебя? Хотя умереть, а не хочу отстать. Елена, а Елена! С сестрами теми не сообщайся: понеже оне чисты и святы. А со мною водися: понеже я сам шелудив, не боюся твоей коросты, – и своей много у меня! Пришли мне малины. Я стану есть, – понеже я оглашенный, ты оглашенная, – друг на друга не дивим, оба мы равны. Видала ли ты? земские ярышки друг друга не осужают. Тако и мы”.

Так, даже осуждая за тяжкий грех и налагая суровое наказание, бывший протопоп вместе заботится о том, чтобы не поселить уныния в душе ученицы, и, отчуждая ее от общения с верными, умышленно ставит себя на одну доску с грешницей, наказывая, вместе и ободряет. При таком отношении к ученикам Аввакум не без основания говорил им: “Не имать власти таковыя над вами и патриарх, яко же аз о Христе, – кровию своею помазую душа ваша и слезами помываю”. Насколько резкие обличения никонианства и смелая проповедь могли привлекать людей к расколу, настолько же эта нравственная чуткость к чужим страданиям и деликатное врачевание душевных скорбей должны были прочными узами приковывать к Аввакуму сердца его учеников.

Зато не остается у Аввакума и следа нежности и снисходительности, как только он имеет дело не с обычным прегрешением, а с тем, что, по его понятиям, представляет собою ересь. В таких случаях он пользуется всем богатством бранных выражений в русском языке, обильными потоками изливая на людей, разошедшихся с ним во мнениях, крепкие слова, умышленно доводя свой язык до крайней степени грубости, невыносимо режущей современное ухо. Для никониан у него нет других выражений, кроме как “воры”, “страдники”, “прелатаи”, “собаки”, “шиши антихристовы” и другие, совершенно непередаваемые современной печатью слова. Тот же способ выражений сохраняет он, обращаясь и к своим единомышленникам, с которыми не согласился в чем-нибудь, относящемся к вопросам веры. “Не помышляй себе того, дурак, – писал он к одному послушавшемуся его ученику, – еже от Бога тебе, кроме покаяния, помиловану быти; но изволися Духу Святому и мне предати тя сатане в озлобление, да дух твой спасется: да приидет на тя месть Каинова, и Исавова, и Саулова, да пожжет тя огонь, яко содомлян, аще не зазришь души своей треокаянной. Кайся, трехглавный змий, кайся!.. Собака дура!”... “Федка, а Федка! – обращался он в другой раз к диакону Федору, разошедшемуся с ним в понимании догмата Троицы, – ох, б... сын! Собака кося! Дурак, страдник!.. Гордоуст, алгмей! собака!”...

Такие и подобные им ругательства и проклятия, которыми щедро осыпал Аввакум своих противников, имели своим источником не только грубость нравов эпохи и несдержанность самого проповедника; происхождение их в равной мере коренилось в общем взгляде последнего на еретиков и необходимое отношение к ним. Но это приводит уже нас к вопросу о самом учении Аввакума, и мы попытаемся теперь передать его главнейшие черты.

Исходным пунктом всего этого учения послужила реформа Никона,

произведшая, по мнению Аввакума, переворот в русской церкви и вовлекшая ее в пагубную ересь. “Как он царя причастил антидором, – говорит протопоп в одном из своих сочинений, – так с тех мест возми да понеси, да ломай все старое, давай новую веру римскую и протчая ереси клади в книги; а кто обрящется противен, того осуждай в ссылки и в смерти, сажай живых в землю”. Сообразно этому, протопоп с крайнею враждой относился и к личности Никона, осыпая бывшего патриарха самой дикой бранью и всячески стараясь унизить и оскорбить его. В этих видах Аввакум приписывал Никону инородческое происхождение, говоря, что отец его был черемисин, а мать татарка, обвинял его в колдовстве, посредством которого он будто бы и обошел Алексея Михайловича, сравнивал его с антихристом и, наконец, даже прямо заявил, что “никониянской дух самого антихриста дух”. Дальше сравнений он не шел, впрочем, в этом отношении и решительно отказывался считать Никона антихристом, утверждая, что он только “предотеча” последнего. Так или иначе, но именно через Никона и благодаря его действиям проникла в Московское государство ересь, которую Аввакум характеризовал следующим образом: “Нарядна она, в царской багрянице ездит и из золотой чаши подчивает. Упоила римское царство и польское, и многия окрестныя реши, да и в Русь нашу приехала в 160-м году...”

Эта ересь, введенная Никоном и заключающаяся в перемене веры на новую, римскую, перешедшая из римского и польского государства, выразилась в изменениях церковных обрядов и богослужебных книг. В ряду первых едва ли не наиболее важное место принадлежало, по мнению Аввакума, установлению троеперстия. Старинный православный обычай заключался, по уверению протопопа, в двоеперстии, и нарушение его, скрывая в себе глубокий и пагубный смысл, увлекает людей в вечную гибель. “Отвергли никонияня, – писал он по этому поводу, – вечную правду церковную, не восхотели пятию персты, по преданию святых отец, креститься, но некако странно тремя персты запечатлешася в сокровищи всегубителя, – глаголю, печатию запечатлевшася антихристовою, в ней же тайна тайнам бе: змий, зверь и лжепророк. Всяк, тремя персты знаменяся, не может разумети истины, омрачает бо у такового дух противный ум и сердце его”. В другом случае Аввакум дал своей мысли еще более распространенное и определенное объяснение. “Всяк бо, крестяся тремя персты, кланяется первому зверю папежу и второму русскому, творя их волю, а не Божию; или реци: кланяется и жертвует душою тайно антихристу и самому дияволу. В ней же бе, щепоти, тайна сокровенная: зверь и лжепророк, сиречь: змий – диявол, а зверь – царь лукавый, а

лжепророк – папез римский и прочий подобии им”. В таком освещении троеперстие представлялось уже не простым изменением обряда, согласованным с практикой других православных церквей, а искажением сущности веры, служением самому антихристу и папе римскому, следовательно, неискупимым грехом. “Велиябо язва и неисцельна, – утверждал протопоп, – от трех перстов бывает души: лучше бо человеку не родитися, нежели тремя персты знаменатися”; всякий, крестящийся тремя перстами, “будет мучен огнем и жупелом”.

Сходным с изменением крестного знамения представлялось Аввакуму и изменение формы креста в изображении из восьмиконечного на четвероконечный. Соглашаясь с тем, что и четвероконечный крест находится в церкви “по преданию святых отец”, Аввакум решал, однако же, что он может быть допускаем “только на ризах, и на стихарях, и патрихилиях, и пеленах, идеже положиша отцы”. “А иже кто, – продолжал он, – его учинит на просфирах или напишет на нем образ распятого Христа и положит его на престол вместо тричастнаго: таковый мерзок есть и непотребен в церкви, подобает его изринуть. Почто на владычнем месте садится? Раб он Христову кресту или предотеча. Знай свое место, не восхищай Господския чести”. Но и на этом условном лишь признании четвероконечного креста Аввакум, в конце концов, не останавливался и, не задумываясь перед резким противоречием, в том же самом сочинении своем обзывал эту форму креста то “римским”, то “польским крыжем” и угрожал признающим его: “в пекл пойдеши, в огонь неугасимый”.

Подобным же образом осуждал протопоп и вновь введенную Никоном трегубую аллилуйю. “До Василия (Великого), – писал он по этому поводу, – пояху в церкви ангельския речи: аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Егда же бысть Василий и повеле пети две ангельския речи, а третью человеческую, сице: аллилуия, аллилуия, слава тебе, Боже! У святых согласно, у Дионисия и у Василия, – трижды воспевающе со ангелы славим Бога, а не четырежды, по римской бл...и. Мерзко Богу четверичное воспевание сицевое; аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава тебе, Боже! Да будет проклят сице поюще”. “Велика в аллилуии хвала Богу, – прибавлял он, – а от зломудрствующих досада велика, – по римски Святую Троицу в четверицу глаголют, Духу и от Сына исхождение являют: зло и проклято се мудрование Богом и святыми”.

Неменьшее негодование возбуждала в Аввакуме установившаяся было в Москве итальянская манера иконописания, которая в противоположность византийской школе вносила в священные изображения долю реализма. “Пишут Спасов образ Емануила, – гневно иронизировал протопоп, – лице

одутловато, уста червонная, власы кудрявые, руки и мышцы толстыя, перси надутыя, тако же и у ног бедра толстыя, и весь, яко немчин, брюхат и толст учинен, лишь сабли-той при бедре не написано”. “А все то, – повторял он при этом удобном случае, – Никон враг умыслил будто живыя писать. А устрояет все по фряжскому, сиречь по немецкому”. Следует заметить, впрочем, что на этот раз враг патриарха был совершенно не прав в своих нападках: Никон не только не был поклонником этой реальной школы иконописания, которая создавалась в Москве задолго до него, но являлся, наоборот, деятельным ее противником. В представлении Аввакума, однако, все изменения русской церковной обрядности неразрывно сплелись с именем Никона. Попытку последнего исказить чистоту русского православия Аввакум усматривал и в совершении службы над пятью просфорами вместо семи, которые употреблялись раньше. И здесь он находил тот же самый источник реформы – римскую веру, проникшую в Москву благодаря Никону, и, не имея возможности доказать непосредственную связь этого изменения с обычаями католической церкви, утверждал, по крайней мере, что оно служит лишь началом, а затем службы будет совершаться и на одной просфире, и притом не кислой, а опресноке, к чему будто бы и стремятся “папа с Никоном преснолюбцы”.

Изменения в иноческом быту в виде замены круглых клобуков монахов плоскодонными и ношения широких ряс равным образом являлись в глазах Аввакума знаменем ереси, пришедшей в православную церковь извне. “Бысть в лета наша, – писал он, – в русской земли Божие попущение, а дияволе злохитрие, изникоша из бездны мниси, нареченные монахи, имеюще на себе образ любодейный, камилавки подклейки женския и клобуки рогатя. Получиша себе сию пагубу от костела римскаго”. Рассказывая при этом известный анекдот о женщине, сделавшейся римским папой, Аввакум именно ей и приписывал введение такой формы клобуков. Если последние представляли собой заимствование из католической церкви, то широкие рясы были, по его словам, введены в видах потворства телесной похоти и в этом смысле также составляли отступление от отеческих преданий. Иноку заповедано всегда глядеть в землю, памятовать страсти Господни и истощать свою плоть, вновь же введенная монашеская одежда представляла полную противоположность этим заветам. По словам проповедника, современные ему иноки “Богом преданное скидали с голов и, волосы, расчесав, чтобы бабы любили их, выставя рожу всю, да препояшется по титькам, воздевши на себя широкий жупан”. “Наг ты, – обращался Аввакум к одетому таким образом монаху, – благодати стал и Христовых страстей отвергся. На женскую подклейку

платишко наложил, да я-де су инок, Христовым страstem сообщник! Подобаet истинному иноку дела Христу подобитися, а не словеса глумными, и так творить, яко-же святии. Помнишь ли? Иоанн Предотеца подпоясывался по чреслам, а не по титькам, поясом усменым, сиречь кожаным; чресла глаголются, под пупом обоясатися крепко, даже брюхо-то не толстеет. А ты, чреватая женка, не извредить бы в брюхе ребенка, подпоясываешься по титькам! Чему быть! И в твоём брюхе-то не меньше ребенка бабья накладено беды-той, ягод мигдалных, и ренскова, и романей, и водок различных с вином процеженным налил: как ево подпоясать! Невозможное дело ядомое извредить в нём! А се и ремень надобе долог!”

Такой же горячий протест вызывали, наконец, со стороны Аввакума и изменения в написании имен, искаженных русскими переписчиками или принявших с течением времени на Руси особую форму и восстановленных никоновскими справщиками в первоначальном виде. С нескрываемой враждой встречал он и все вообще изменения в языке и обычаях, хотя бы и не входившие в собственно церковную сферу. “Не токмо святые книги изменили, – жаловался он на никониан, – но и ризы, и мирские обычаи, и вещи, и пословицы, и имена преложили: глаголют бо Христа Иисуса – Иисусом, а Николу чудотворца – Николаем, – той бо Николай при апостолах еретик бысть, а великий чудотворец бысть при царе Константине. Еще же прелатаи нарицают Иванна именем женским, пишуще без титла Анною. Вся сия Богови грубо, не подобаet бо своего языка уничижить и странными языки украшать”...

Итак, благодаря Никону, русскую церковь охватила пагубная ересь, выразившаяся в целом ряде изменений церковной обрядности и жизни, причем эти изменения проявились в двух направлениях: место прежнего строгого благочестия и истинно христианской жизни заступили испорченность нравов, потворство плоти и угождение страстям; место древних обрядов и догматов православных заняли новые, еретические, заимствованные из чужих, неверных стран. Уделяя немало места обрисовке первой стороны, строго проводя аскетический идеал, отождествлявшийся им с христианским, и указывая на несоответствие ему действительности, Аввакум, однако же, главное свое внимание обращал на вторую сторону никонианства, причем исходным пунктом его критики всегда являлась старина, “старые святые книги”, старые обряды, малейшее отступление от которых в его понимании влекло за собою ересь. Но, следя за применением им этого общего положения на практике, нельзя избавиться от тягостного и досадного недоумения при виде тех мелочей, на которые исключительно направлена мысль проповедника, и тех противоречий, в которых

беспомощно и, по-видимому, безысходно запутывается она. В самом деле, отчего можно три раза подряд славословить Бога, а тот, кто произнесет славословие в четвертый раз, будет проклят? Отчего четвероконечный крест признается в одном случае и отвергается с проклятиями в другом? И главное, отчего всем этим мелким обрядовым различиям придается такое громадное значение? Чтобы найти ответ на эти вопросы, необходимо ближе подойти к основам мировоззрения проповедника и прежде всего рассмотреть, что представляла из себя та старина, на которую он так часто ссылался и против изменений которой так ратовал.

До некоторой степени это определяется уже общим отношением Аввакума к изменениям в церковной сфере. Через все его обличения реформ Никона красной чертой проходило стремление связать эти реформы с латинством, с учением и практикой римской и польской церковью, с “фряжскими”, или “немецкими” порядками; даже в тех случаях, когда не находилось уже решительно никаких данных для установления этой связи, он пытался создать ее путем совершенно произвольных предположений, в дальнейшем ходе мыслей принимаемых за доказанные истины. Таким образом, все современные ему изменения церковной обрядности понимались им как заимствования от иностранцев и обобщались под именем римской, польской или немецкой веры. “Ох, ох, бедная Русь! – восклицал он.– Чего-то тебе захотелось немецких поступков и обычаев?” То же самое отношение сквозило и в эпитетах, какими он наделял виновников и сторонников церковной реформы, в названии их “другими немцами русскими”. Русское православие противопоставлялось, таким образом, в представлении Аввакума иноземной ереси. Согласно этому представлению, правая вера сохранилась только в Московской Руси, исчезнув во всех других странах, не исключая Греции и Малороссии, где православие уцелело только по имени, будучи на деле давно искажено латинской ересью. Москва, единственная из всех государств древнего и нового мира, успела удержать у себя правую веру, и потому все отличия от практики православной церкви, установившиеся на Руси, приобретали характер признаков преимущественного правоверия. Это сохранение веры во всей ее чистоте придавало Москве значение “третьего Рима”, главы православного мира, и понятно, что при таком воззрении, в котором религиозная исключительность сливалась с национальным самомнением, мало оставалось места для каких-либо исправлений русской церковной жизни на основании практики других православных церквей. Такой результат еще усиливался самым пониманием правоверия. В последнем Аввакум усматривал две стороны: сохранение неизменными всех догматов

и обрядов церкви и соблюдение строгого благочестия в жизни. Но как первое сводилось у него почти всецело к обрядовой стороне, к наблюдению за тем, чтобы “где что положили святые отцы, там бы оно и пребывало неизменно”, так второе при его аскетическом настроении переходило в полное почти отречение от мира, в жизнь, отрешенную от всякого плотского наслаждения, от всякой нецерковной радости. “Детей своих учите, Бога для, неослабно страху Божию; играть не велите. Ох, светы мои! Вся мимо идут, токмо душа вещь непременна”, – наставлял он своих учеников и давал им ряд подобных советов, как устроить жизнь по правилам благочестия. Согласно этим советам, вся жизнь в ее целом, как церковная, так и общественная, и частная, должна была управляться предписаниями религии и стремиться исключительно к удовлетворению религиозных интересов; рядом с высшей религиозной истиной не оказывалось места ни для какой другой, хотя бы даже и в подчиненном по отношению к первой положении. Человеческий разум не только всецело поглощался догмой в области религии, где ему предстояло лишь хранить завещанное веками предание, но и не имел для себя вообще никакого поприща самостоятельной деятельности, так как все, не входившее в церковную сферу, решительно отвергалось. Всякая попытка проникнуть в таинства природы являлась, с этой точки зрения, опасным дерзновением, бесплодным и даже вредным умствованием, близким к ереси. “Не все судьбы Бога человеку надобно ведать, – увещевал верных Аввакум, – полно и тово, что (Бог) на земли наделал и дал знать. И от того человек, что пузырь, раздувается; а как-бы небесная-то ведал, и он бы равен был диаволу”. Поэтому светская наука, не имевшая своих корней в религии, признавалась исключительно наследием языческих времен и предавалась проклятию. Язычники “достигоша с сатаною разумом своим небесных твердей и звездное течение поразумевше”, а христиане “достигают не мудрости внешняя поразумевати и луннаго течения, но на самое небо восходят смирением”. “Никонияня так-то христиан губят, – прибавлял проповедник, – научают роскошному житию и остролог прочитать, богоотступное дело – беги небесная читать”. В сущности же всякая вообще наука должна быть чужда истинному христианину. “Не ищите риторики и философии, ни красноречия, – поучал протопоп, – но, здравым истинным глаголам последующе, поживите. Понеже ритор и философ не может быти христианин, – Григорий Ниский пишет”. “Аз есмь, – писал в соответствии с этим Аввакум о своей собственной учительской деятельности, – ни ритор, ни философ, дидакалства и логофетства не искусен, простец человек и зело исполнен неведения. Сказать-ли, кому я подобен? Подобен я нищему

человеку, ходящу по улицам града и по окошкам милостыню просящу. День той скончав и препитав домашних своих, на утро паки поволокся. Тако и аз, по вся дни волочась, собираю и вам, питомникам церковным, предлагаю: пускай ядше веселимся и живи будем. У богатова человека Христа из евангелия ломоть хлеба выпрошу, у Павла апостола, у богатова гостя, из посланий его хлеба крому выпрошу, у Златоуста, у торгового человека, кусок словес его получу, у Давида царя и у Исаи пророка, у посадских людей, по четвертине хлеба выпросил; набрав кошель, да и вам даю, жителям в дому Бога моего. Ну, ешьте на здоровье, питайтесь, не мрите с голода, я опять побреду собирать по окошкам. Аще мне надают, добры до меня люди-те, помогают моей нищете, – а я паки вам бедненьким поделюсь, сколько Бог даст”. Только одна мудрость и ценна для христианина – религиозная, но и здесь дело не в исследовании, а в усвоении и сохранении неизменною готовой истины. Такое мировоззрение, отдельные части которого были тесно связаны между собою и которое слагалось из проникновения всех жизненных отношений религией, понимаемой притом преимущественно с внешней ее стороны, и из отождествления религии с данной национальностью, не допускало никакого воздействия на жизнь народа извне. Всякое признание преимущества в чем-либо другого народа, неправильности того или другого порядка у себя дома, сравнительно с иноземцами, посягало и на ту идею исключительного русского правоверия, на которой держалось все мирозерцание проповедника, и вот почему Аввакум так упорно держался за всякую мелочь и проявлял столько озлобления в самых ничтожных, по-видимому, вопросах: отказаться от подробности значило вместе своими руками подорвать и общую идею. “Не передвигаем вещей церковных с места на место, – заявлял он. – Идеже святии положиша что, то тут и лежи. Иже что, хотя малое, переменить, да будет проклят”. Возможность иной точки зрения для русского человека совершенно не представлялась его уму, и поэтому осуждение его взглядов было в его глазах равносильно осуждению всей русской церкви, посрамлению всего ее славного прошлого, возвысившего ее над всеми другими. “То ли наша великая вина, – в глубоком недоумении спрашивал он, – еже держим отец своих предание неизменно во всем? Аще мнится им дурно сие: подобает им извергнута от памяти прежде бывших царей и патриархов и всех русских святых. За что они нам после себя оставили книги сия, за нихже мы полагаем душа своя! Аще ли им памяти честне творят и святых русских почитают всех, ихже мы уставы и предание неизменно держим: за что же нас мучить и губить?” Странными и дикими представлялись Аввакуму при таком положении дела

проклятия, обрушившиеся на него со стороны русских иерархов. “А что вы нас клянете, – говорил он, – и мы тому смеемся. И робенок засмеется вашему безумию. Коли нас за старину святую проклинать, – ино и отец вам и матерей подобает своих проклинати, в нашей вере измерших”.

Малоубедительными оказывались для Аввакума ввиду его руководящих принципов и возражения, производившие особенности русской церковной жизни от невежества прежних иерархов и призывавшие склониться перед ученостью греков и малороссов. В его глазах православие и невежество скорее могли быть синонимами, чем православие и наука, и он с особенной, понятной только с точки зрения всего его мирозерцания, иронией противопоставлял невежд-русских ученым грекам. “Русские бедные, пускай глупы, рады мучителя дождались, полками в огонь дерзают за Христа Сына Божия-Света. Мудры б... дети греки, да с варваром турским с одного блюда патриархи кушают рафленные курки. Русачки же миленкие не так, – в огонь лезет, а благоверия не предаст?” Исправления, сопровождаемые ссылками на практику иных церквей и на авторитет чужестранных ученых, уже в силу одного этого основания своего, подрывавшего учение об исключительном русском правоверии, приобретали в сознании Аввакума вид ереси, готовой поглотить и последний народ, оставшийся еще чистым от нее, одержать победу над православием в последнем его убежище. “Иного же отступления нигде не будет: везде бо бысть; последняя Русь zde”, – писал он. Мотив религиозный в его протесте, таким образом, не только сливался с национальным, но в значительной мере и вытекал из последнего. Не грекам, которые “потеряли своего царя”, так как отреклись от “благочестия”, предстояло учить чему-либо русских людей; лишь из Москвы мог изливаться на народы свет православия, и всякое действие, знаменовавшее собою отступление от этого общего взгляда, как бы оно ни было мелко по внешности, открывало собою и начало ереси.

Связь “царства” и “благочестия” имела, впрочем, в понимании ревнителя русской старины еще и другое значение. Правоверие не определялось, по его взгляду, личным разумом отдельного человека, но вместе с тем, судьба этого правоверия не зависела и от свободной воли отдельных членов церкви. Охрана его возлагалась на иерархию, которая и должна была наблюдать за действиями и мнениями своей паствы, ведя последнюю по правому пути и требуя от нее беспрекословного повиновения; так поступал сам Аввакум, будучи священником, того же требовал он и от других. Но обязанности такой охраны лежали, на его взгляд, не только на духовной иерархии, а и на светской, по крайней мере, в

лице главного ее представителя, царя: последний должен был заботиться о чистоте своих подданных и отвечал за них перед Богом. К царю как к верховному охранителю православия и обращался Аввакум в одном из своих посланий: кто бы решился порицать русскую церковь, “аще бы не твоя держава попустила тому быти?” Таким образом, главную роль в деле религии для него играло не внутреннее самоопределение человека, а внешняя принудительная сила власти, церковной и светской, которая получала при этом в свои руки и соответствующие средства. Всякое отступление от определяемых религией правил, совершалось ли оно в области практической жизни или в сфере теоретической мысли, неизбежно должно было, по воззрению протопопа, повлечь за собой наказание, причем это последнее не ограничивалось собственно духовными мерами, но распространялось на телесную природу преступника. В руках священника как пастыря душ находилось не только духовное оружие, но и палки, цепи и т. п., и те же самые средства должны были служить и светской власти при защите ею веры. Грубая сила являлась средством для поддержания церковной дисциплины, она же служила охраной и для самой веры. По отношению ко всякого рода еретикам проповедовалась полная нетерпимость, и преследование их вменялось в обязанность и духовной иерархии, и светской власти. Так в послании к Алексею Копытовскому, одному из учеников своих, Аввакум советовал ему побить палкой другого раскольника за неправильные его мнения и грозил проклясть последнего, если он не исправится. Проклятие – крайняя мера со стороны лица духовного, но упорных еретиков должно передавать затем в руки светской власти, которая обязана казнить их. Это общее положение Аввакум применял и к никонианам. “Воли мне нет да силы, – жаловался он в одном из своих посланий, – перерезал бы, что Илья пророк, студных и мерзких жеребцов всех, что собак”... При такой фанатической нетерпимости, не останавливавшейся перед требованием смертной казни за убеждения, идеальным носителем государственной власти в глазах проповедника являлся не кто иной, как сам царь Грозный. Говоря о Никоне, Аввакум замечал: “Как бы доброй царь, повесил бы ево на высокое древо... Миленькой царь Иван Васильевич скоро бы указ сделал такой собаке”... Эту идеальную в его глазах фигуру прошлого Аввакум мечтал увидеть и в настоящем.

“Ведаю разум твой, – обращался он к Алексею Михайловичу в своих “Толкованиях на псалмы”, – умеешь многими языки говорить: да што в том прибыли? С сим веком останется здесь, а о грядущем ничим-же пользуетя. Воздохни-тко по старому, как при Стефане бывало,

добренько и рцы по русскому языку: Господи, помилуй мя грешнаго? А кириелейсон-от оставь: так ельняне говорят; плюнь на них! Ты, ведь, Михайлович, русак, а не грек! Говори своим природным языком; не уничижай его и в церкви, и в дому, и в пословицах. Как нас Христос научил, так подобает говорить. Любит нас Бог не меньше греков; предал нам и грамоту нашим языком Кириллом святым и братом его. Чего же нам еще? Разве языка ангельскова? Да нет, ныне не дадут, до общаго воскресения. Да аще бы и ангельски говорил, Павел рече, любви же не имам, бых яко медь звеняща или кимвал бряцающа, – барабаны ваши!.. А ты, миленькой, посмотри-тко в пазуху-ту, царь христианский! Всех-ли христиан-тех любишь? Нет больше, отбеже любовь и вселися злоба. Еретиков-никониян токмо любишь, а нас, православных христиан, мучишь, правду о церкви Божией глаголющих ти. Перестань-ко ты нас мучить-тово. Возми еретиков-тех, погубивших душу твою, и пережги их, скверных собак, латынников и жидов, а нас распусти, природных своих. Право, будет хорошо”...

Итак, религиозная и национальная исключительность, распространение религии, понятой узко и односторонне, на все сферы жизни, проповедь аскетизма и отречения от свободы личного разума и от светской науки, наконец, нетерпимость, доходившая до апофеоза грубейшего насилия, – таковы были основные черты мирозерцания Аввакума, тесно связывавшие его с предшествовавшим историческим моментом. Но применять и проповедовать это мирозерцание Аввакуму пришлось в обстановке, незнакомой его предшественникам. Благодаря этому и проповедь его не могла остановиться на первой своей стадии – обличения еретической новизны и защиты старины. Те реальные условия, в каких очутился раскол с момента своего возникновения, очень скоро заставили проповедника переступить грань, лежавшую между защитой старого порядка и организацией нового. В самом деле, после того, как ревнители старины потерпели неудачу в своих претензиях на официальное господство, они оказались в положении, вызывавшем целый ряд новых вопросов теоретического и практического характера. С того момента, как русская церковь отказалась от мысли о своем исключительном правоверии, она потеряла в их глазах значение православной. Но это поражение православия в последнем его убежище могло быть объяснено лишь наступлением царства антихриста, за которым должна была последовать кончина мира. Весьма многие из защитников старины и усмотрели в Никоне антихриста, пришедшего в мир ради исполнения пророчеств и уничтожения правой веры. Однако на долю предполагаемого антихриста не

досталось господства. Русская церковная старина была проклята в роковом 1666 году, ровно через 666 лет после первого тысячелетия по Рождестве Христа; согласно указаниям Кирилловой книги, через 1000 лет после Рождества Христа совершилось отступление римской церкви от православия, а через 660 лет после того следовало ждать отступления русской церкви и еще через 6 лет – полного ее падения. В этом пункте пророчества сбывались. Но тот же собор, который наложил это проклятие, низверг Никона с патриаршего престола. Ввиду последнего обстоятельства, не соглашавшегося с приписываемой Никону ролью, многие из ревнителей старины видели в Никоне не более как предтечу антихриста, царство которого должно было еще наступить в близком будущем. Этого последнего мнения держался и Аввакум. Ожидая скорой кончины мира, объясняя действия Никона и последовавшей за ним светской власти “духом антихриста” и порою не воздерживаясь даже от искушения применить к ним пророчества о последнем, он, тем не менее, решительно утверждал, что “не пришел еще он, последний черт”, хотя и “скоро уже будет”. Так как таким путем кончина мира отодвигалась еще на некоторое время, то в ожидании ее верным предстояло определить возможные отношения с церковью, устроить свой внутренний быт применительно к новым условиям, отторгшим его от общего церковного тела, наконец, установить руководящие принципы жизни на будущее время. В эту сторону, под влиянием постоянно поступающих к нему запросов, должен был направить свою проповедническую деятельность и Аввакум.

Первое место в ряду подобных вопросов, созданных обстоятельствами, которые сопровождали образование раскола как отдельной религиозной общины, лишенной связи с церковью, занял вопрос об отношении раскольников к православным или, употребляя терминологию партии, к “никонианам”. На этот вопрос Аввакум давал вполне точное и определенное решение, вытекавшее из самого понимания им “никонианства”. “Паче прежних еретик никонияня”, – говорил он и в строгом согласии с этим общим взглядом устанавливал формы отношений к ним. “Христианину сущу, – по его словам, – подобает удалиться их; не токмо жертвы, но и селения их поганы суть и древних еретиков поганее”. “Не водись с никонияны, – писал он в другой раз, – не водись с еретиками; враги они Богу и мучители христианом, кровососы, душегубцы”. По его советам, следовало избегать не только мирных и дружеских сношений с никонианами, но и всяких прений о вере, хотя бы даже такие прения не носили прямо враждебного характера. “Беги от еретика и не говори ему ничего о правоверии, – предписывал на этот случай Аввакум, – токмо плюй

на него. Аще он когда и мягко с тобою говорит, отклоняйся его, понеже ловит тебя; даже наведет беду душевную и телесную”. Идеалом являлось, таким образом, полное отчуждение от никониан, причем оно должно было бы распространяться как на церковную, так и на частную жизнь. Этот общий принцип в житейской практике встречался, однако, с таким случаем, к которому он не мог быть применен без предварительных оговорок и дополнений. Раскольники даже тогда, если бы они захотели всецело осуществить такое отчуждение, не могли совершенно избежать столкновений с никонианами, не могли отгородиться от них так же прочно, как отгораживалась русская церковь в ее целом от иноземного влияния, так как это зависело не только от их воли. Православная иерархия, поддерживаемая силой светской власти, вмешивалась в их жизнь, требовала подчинения себе, и, таким образом, возникал вопрос, как быть с этим вмешательством, какого рода меры практиковать по отношению к воинствующему православию. Наилучший выход из этого положения указывал Аввакум в мученичестве, на которое деятельно и возбуждал своих учеников, радуясь, что “русская земля освятилась кровию мученическою”. “Само царствие небесное валится в рот, – писал он, – а ты откладываешь, говоря: дети малы, жена молода, разориться не хочется!.. Ну, дети-те переженишь и жену-ту утетишь; а затем что? не гроб-ли? И та же смерть, да не такова: понеже не Христа ради, но общей всемирной конец”. Смерть за веру была концом, наиболее достойным христианина, по мнению протопопа, даже и в том случае, когда эта смерть не наносилась непосредственно гонителем, а являлась результатом самоубийства, если только к последнему человек прибегал из боязни не устоять перед мучениями, “да цело и непорочно соблюдет правоверие”. Получив первые известия о самосожжении раскольников, Аввакум отнесся к нему с большим одобрением, величая умерших “самовольными мучениками”. “Вечная им память во веки веков! – прибавлял он.– Добро дело содеяли – надобно так. Разсуждали мы между собою и блажим кончину их”.

Но при всем своем ригоризме Аввакум был все же слишком практическим человеком, чтобы не видеть, что такой исход – мученичество за открытое исповедание веры – доступен лишь для отдельных личностей, представляющих более или менее редкие исключения из общей массы, и это вынуждало его смягчить тон своей проповеди. Для тех, кто не мог понести подвига отстаивания старой веры во всей его полноте, проповедник рекомендовал поэтому дорогу компромисса – “належащего ради страха аще плотски и соединяться с никонияны, но внутрь горением гореть о истине Христове, ея же ради отцы и братия наша стражуют и

умирают”. Раз став на эту точку зрения, протопоп с обычною прямою доводил свою мысль до конца, досказывая все детали и не оставляя никакого места для сомнения. Подавая верным советы на тот случай, если придется исповедоваться у православного священника, он говорил: “И ты с ним в церкви сказки сказывай, как лисица у крестьянина куры крала: прости-де, батюшко, я-де не отгнал; и как собаки на волков лают: прости-де, батюшко, я-де в конуру со-баки-той не запер. Да он, сидя, исповедает, а ты ляг перед ним, да и ноги вверх подыми, да слюни пусти, так он и сам от тебя побежит: черная-де немочь ударила”. Не менее характерные советы давал протопоп на тот случай, если православный поп придет в дом раскольника со святой водой. “А с водою-тою как он придет, так ты во вратех-тех яму выкопай, да в ней роженья натычь, так он набрушится тут, да и попадет. А ты охай, около ево бегая, бытто ненароком. А буде который яму-ту перелезет и, в дому-том быв, водою-тою намочит, а ты после ево вымети метлою, а робятам тем вели по запечью от него спрятаться. Он кропит, а ты рожу-то в угол вороти, или в мошню в те поры полезь, да деньги ему давай. А жена бы, и она собаку из-под лавки в поры гоняй, да кричи на нее. Он ко кресту зовет, а она говори: бачко, недосуг, еще собаку выгоняю, тебя же заест. Да осердись на него, раба Христова, – бачко, какой ты человек”... “А в чем погрешится, – прибавлял Аввакум, – и ты кайся перед Господом Богом! Где же деться? Живыя могилы нет”.

Другой вопрос, выдвинувшийся вперед при образовании раскола, касался церковной иерархии и таинств. Разорвавши с иерархией православной церкви, раскольники и сами оказались в крайне затруднительном положении, так как их церковные общины остались без верховного пастыря и не могли получить его никаким правильным путем. Отсюда для раскола уже сразу приобрели крайне серьезное значение вопросы о священстве и таинствах, настойчиво требуя того или иного решения. Некоторые из раскольников пытались решить их, доказывая, что за отступлением иерархии исчезла и действующая через нее благодать, почему не могло быть более ни правильно поставленных попов, ни правильно совершаемых таинств, и на этом основании совершенно отрицали, например, причащение. Аввакум, однако же, энергично восстал против такого крайнего решения. “А кои не причащаются люди, – писал он, – и оне делают не гораздо, своим умыслом говорят: взята-де благодать. И после антихриста, последнева чорта, благодать-та не покинет верных своих... Как-то так дерзко глаголют, что не обрящеши святых тайн. Толко то и людей святых, что бытто одни мы, а то все погибли; миленькие батюшки, добро ревность по Бозе, да знать ей мера”. По его мнению, благодать

сохранилась в церкви, и таинства остаются действительными, если только они совершаются людьми правоверующими и с соблюдением всех праведных обрядов; поэтому в никонианской церкви нет таинств в настоящем их виде; ни причащение, ни крещение, ни другие таинства, совершаемые никонианами, не имеют силы: причащая, никониане “бесом жрут, а не Богови”, “крещение еретическое несть крещение, но осквернение”, но дело здесь все-таки не в исчезновении благодати, а в еретических обрядах, мешающих ей проявиться.

Не так определены были взгляды Аввакума в вопросе о священстве. Он с недоумением спрашивал, правда: “как же миру быть без попов?”, доказывал, что благодать сохранилась и в священстве, и лишь печалился, что большинство “старопоставленных” до Никона попов, услугами которых могли пользоваться раскольники, временно уклонялись в никонианство, “а лучше тех ныне и не возможно обрести праваго священства”. Тем не менее факт отступничества таких священников претил его прямой натуре, и он разрешал прибегать к ним только в крайней нужде: “кроме же нужи никакоже от них не принимай, понеже слабодействоваша в догматах”; в других же случаях он прямо советовал обходиться без попов, говоря, что “можно иноку, простцу и простолюдину искренным таинством причащаться”, равно как совершать и другие таинства. Такое решение было тем естественнее, что попов, получивших постановление после Никона, Аввакум не считал уже правыми священниками, и, таким образом, количество последних оказывалось весьма ограниченным. Тем не менее, учение его в этом пункте оставалось не вполне выясненным и определенным, нося несколько двусмысленный характер и заключая в себе как бы зародыши обоих главных толков позднейшего времени, поповщины и беспоповщины.

Третьим общим вопросом в судьбе раскола, по которому приходилось Аввакуму, ввиду обращенных к нему настояний, высказывать свой приговор, были споры в среде самих раскольников. Раз возникшее движение не застыло в одной определенной форме, но по мере своего распространения, принимая в себя все новые элементы, сообразно их свойствам видоизменяло несколько и свой характер. Под общим знаменем оппозиции православной церкви объединялись различные стремления, раскол дробился на отдельные толки, и члены этих последних во взаимных отношениях проявляли ту же резкую нетерпимость, какой управлялись их действия относительно никониан. Аввакум обыкновенно порицал такую вражду и старался сдерживать ее проявления. “Тело наше, – писал он по этому поводу, – без души как кал, и пепел, и прах, а вы уже друг друга

гнушаетесь и хлеба не ядите вместе, глупцы, гордитесь друг другом, а все одна земля и пепел”. Но сами споры являлись в его глазах неизбежными и даже полезными, так как они способствуют выяснению истины. “А что противятся друг другу, – писал он в другой раз, – пускай так! Тако истина и правда больше сыскивается... Грызитесь гораздо! Я о сем не зазираю. Токмо праведне и чистою совестью разыскивайте истину”. Такой взгляд не простирался, однако, у Аввакума на всю область богословских споров, а имел свои определенные и довольно узкие границы. Каждый раз, когда спорящие стороны касались вопроса, находившего, по мнению протопопа, свое решение в старине, он требовал безусловного признания последней. Сообразно с этим он с решительным осуждением относился ко всем учениям, которые возникали, по его мнению, из иноземной веры; так, он резко порицал не признававших иконы, как подражателей лютеран и кальвинистов; в этих случаях он от убеждения ослушников быстро переходил к угрозам наложить на них проклятие за еретические мнения.

Это рвение к старине не оберегло, однако, самого Аввакума от уклонения в ересь. При глубоко реалистическом направлении его ума, мало подготовленного к усвоению догматических тонкостей, для него оказалось достаточно опечатки одной из старых книг, в которой Троица была названа “трисушной”, чтобы отступить от некоторых догматов и учений православия. Он начал именно отрицать единосущность Троицы и, утверждая, что в ней три существа, как три лица, вместе с тем отделял Иисуса Христа от третьего члена Троицы. Из-за этого учения между пустозерскими узниками поднялась большая распря, так как Епифаний и Лазарь приняли сторону Аввакума, дьякон же Федор восстал против него. В пустозерской тюрьме благодаря этому разыгрывались тяжелые сцены: Аввакум, совместно с Лазарем, проклинал Федора и настраивал против него тюремную стражу, с помощью которой завладел даже оправдательными сочинениями Федора и уничтожил их. “Что се, Господи, будет? – спрашивал доведенный до отчаяния Федор. – Тамо на Москве клятвы вси власти налагают на мя за старую веру и на прочих верных, и зде у нас между собою клятвы и свои друзи мене проклинаят за несогласие с ними в вере же, во многих догматех, болши и никониянских!”... И после смерти Аввакума эта часть его учения продолжала вызывать сильные споры между раскольниками, закончившиеся тем, что она была отвергнута как несогласная с учением церкви.

Но не только в области церковных догматов Аввакум незаметно для самого себя сошел с почвы защищаемой им русской старины. С течением времени и некоторые другие стороны его мировоззрения испытали весьма

существенные видоизменения. Говоря о таких изменениях, нельзя, правда, точно указать ни времени их возникновения, ни последовательности, в какой они появлялись, так как хронология сочинений Аввакума, по крайней мере, по отношению к значительному большинству их, до сих пор не установлена и едва ли может быть восстановлена при имеющихся данных. Но если мы не можем соблюсти строгой хронологической последовательности в изображении изменений взглядов Аввакума, то не представляется никакого затруднения в определении тех реальных условий, которые были непосредственной причиной этих изменений.

Стого момента, как безусловные защитники русской церковной старины потерпели решительное поражение в разгоревшейся борьбе партий, их попытки всецело удержаться на почве этой старины и сохранить всю систему прежних взглядов встретили серьезные препятствия в фактическом положении, созданном для них обстоятельствами. В состав понятия старины входили, между прочим, признание власти церковной иерархии в делах веры над паствой и присвоение царю значения верховного охранителя православия, облеченного властью для наказания еретиков. Но все главные представители церковной иерархии, одни раньше, другие позже, стали на сторону никонианства, примкнула к последнему и светская власть, а раскольники очутились в положении преследуемой партии. Все те громы, которые они призывали на своих противников, обрушились теперь на их собственные головы: церковные иерархи и светская власть равно возмутились против них, равно клеймили их именем еретиков, сыпали на них увещания и угрозы, пытки и казни. При таком обороте дела сохранение прежних убеждений по данным вопросам создало безысходное противоречие в учении раскольников, совершенно невыносимое в практической жизни, и, по мере того, как суровая действительность отнимала у них всякую надежду на перемену настроения властей в их пользу, среди них делалась популярной и мысль о необходимости перестройки данных сторон учения в связи с изменившимися условиями. Попытки такой перестройки были сделаны и Аввакумом, выразившись в изменении его взглядов на значение иерархии и на средства религиозной пропаганды. То обстоятельство, что ему на практике пришлось встать против церковной иерархии и вступить в борьбу с нею, привело его и в теории к отрицанию ее авторитета. Предвестником такого отрицания явились советы благочестивым со стороны Аввакума признавать не всякого попа, но только такого, поведение и учение которого, по рассмотрению, окажутся согласными с истиной. В дальнейшем Аввакум стал уже решительно отрицать безусловный авторитет иерархии в решении

вопросов веры, нападая как на признававших этот авторитет, так и на самих иерархов. В разгар борьбы он говорил про последних, что они людьми “яко кабальными обладали, что они велят, то и творят: “так-де нам государи патриархи указали, на них-де Бог положил то дело”. А который Бог? Укажи-тко, простолюдин, разве бог тьмы ослепил сердца ваши, еже не возсияти вам истины и правды? Прозри, безумие! Болишь слепотою неразумия!.. Али ты чаешь, потому святы нынешние законоположники власти, что брюха-те у них толсты, что у коров, да о небесных тайнах не смыслят, понеже живут скотски и ко всякому беззаконию ползки? или на то глядишь, что они воздыхают? Не глади на вздохи-те их! Воздыхает чернец, что долго во власти не поставят, а как докупится великия власти, вот уже и воздыхать перестанет”.

Дольше, по-видимому, держался Аввакум за другой аналогичный тезис, провозглашавший верховную власть царя в церкви, тем более что, и разочаровавшись уже в иерархии, он все еще хранил надежду на обращение Алексея Михайловича в “старое благочестие”. Но время шло, а то, что казалось ему первоначально временным ослеплением царя, не только не проходило, но принимало все более прочный характер, переход царя на сторону никонианства становился все очевиднее. При этих условиях нельзя было продолжать проповедь подчинения царской власти в религиозных вопросах, не отказываясь от своего учения или не становясь в полное противоречие с ним, и Аввакум резко переменял свою точку зрения в этом вопросе. “В коих правилех писано, – спрашивал он в одном из последних своих сочинений, – царю церковь владеть и догмат изменять, святая кадить?” Ограничивая, таким образом, власть царя в делах церковных, Аввакум не касался, однако, его светской власти и, напротив, оговаривался, что этой последней он не думает “восхищать”. Ту же осторожность проявил Аввакум и по отношению к личности царя: отвечая на вопросы своих учеников, следует ли молиться за царя, он советовал молиться за живого, на обращение которого еще можно питать надежду, но на молитвах за умершего, по крайней мере, не настаивал, а иногда даже решительно отвергал их. Такое ограничение авторитета церковной и светской иерархии в религиозных вопросах неизбежным последствием своим имело некоторое освобождение личного разума. Правда, оно не могло быть ни полным, ни даже особенно значительным, так как в основание всякого вопроса полагался все-таки принцип старины, но, по крайней мере, в определении этой старины главная роль отводилась уже личной деятельности человека. Прежде всяких дальнейших шагов в этом направлении предстояло закончить устранение насильственной опеки над

совестью человека путем отрицания самых средств грубого насилия в деле религиозной пропаганды, и мысль Аввакума под влиянием испытаний, вынесенных им самим и его товарищами от противников, действительно обратилась в эту сторону. В его пустозерских произведениях местами попадаются как бы слабые проблески идеи веротерпимости, принявшие, наконец, уже довольно законченную форму в знаменитом месте “Жития”, так мало гармонирующем с суровым и непримиримым фанатизмом его автора. “Чюдо, – говорит он здесь про никониан, – как то в познание не хотят прийти! Огнем, да кнутом, да виселицею хотят веру утвердить! Которые то апостолы научили так? – не знаю. Мой Христос не приказал нашим апостолам так учить, еже бы огнем да кнутом, да виселицею в веру приводить... Татарской бог Магмет написал в своих книгах сице: непокоряющихся нашему преданию и закону повелеваем их главы мечем подклонити. А наш Христос ученикам своим никогда так не повелел. И те учителя явны яко шиши антихристовы, которые, приводя в веру, губят и смерти предают: по вере своей и дела творят таковы же”.

Таковы те стадии, на которых мы можем проследить развитие религиозной и общественной мысли Аввакума. Последние из них являются при этом далеко не столь резко очерченными и определенными, как первые: даже в тех самых сочинениях, из которых заимствованы только что приведенные цитаты, имеются другие места, стоящие в противоречии с ними, приводящие старые взгляды, и особенно трудно в этом смысле дается Аввакуму идея веротерпимости, в конце концов и усвоенная им только в форме отрицания казней за веру. Старые идеи глубоко укоренились в уме проповедника и нелегко поддавались трансформации.

Во всяком случае, в этих колебаниях вождя раскола отразилась и общая судьба того движения, руководителем которого он был. Появление на почве русской действительности фактов, противоречивших господствовавшей ранее идее исключительного национализма, повело к критике последнего, которая вынудила его представителей точнее формулировать свои взгляды и свести их в более строгую и стройную систему, а в дальнейшем породила борьбу двух противоположных мировоззрений. В этой борьбе лица, желавшие сохранить в целостности все прежнее религиозно-националистическое мировоззрение, замкнулись в рамки раскола, и лишь позднее это чисто идейное движение было осложнено политическими и социальными факторами, первоначально в нем отсутствовавшими. Тем не менее значение раскола уже на первых порах его существования не исчерпывалось одной реакцией религиозно-общественного характера: факт образования отдельной религиозной

общины, ставшей вне связи с церковной иерархией и вызвавшей против себя преследование со стороны светской власти, не только повлек за собой изменения во внешней организации церковных отношений в этой общине, но и породил в умах ее членов новые представления и идеи о церкви и государстве, в свою очередь ставшие в противоречие даже с теми сторонами старого порядка, которые находили себе полное признание у противников раскола. В этой стороне раскола коренились уже слабые зародыши будущего сектантства – проповедника свободы человеческой мысли в религиозной и общественной сфере.

С этой точки зрения чрезвычайно характерна и полна глубокого трагизма и личная судьба Аввакума. Он хотел идти заодно с церковной иерархией и встал к ней в оппозицию, приведшую к извержению его из церкви, искал союза с государственной властью, а последняя вооружилась против него. Его идеи не успели совершить такого быстрого и крутого поворота, какой произошел в его фактическом положении, и благодаря этому в его произведениях нередко звучала нота тяжелого и скорбного недоумения. В общем он представлял собою один из ярких типов того переходного времени, когда господствовавшая раньше в обществе система становилась достоянием оппозиционной партии. Если бы он победил в начатой им борьбе, он был бы гонителем не менее, если еще не более, беспощадным и жестоким, чем те, которые гнали и мучили его самого; но на его долю досталась роль побежденного, и в этой роли он приобрел себе место в истории. Как защитник националистического мировоззрения он принадлежит старому времени, как проповедник веротерпимости – новому.

Годы шли за годами, а в положении Пустозерских узников не происходило никакой перемены. По-прежнему были они заключены в четырех стенах своей тюрьмы, по-прежнему не было никакого просвета в их мрачной судьбе. Даже Аввакум, сначала еще питавший надежду на скорое освобождение, постепенно утрачивал ее. Проходили годы, совершались важные перемены в Московском государстве, умер царь Алексей, вступил на престол сын его Федор, а тяжелое заключение все тянулось, и не предвиделось ему конца. Как ни силен духом и крепок телом был Аввакум, но и его закаленная в бедствиях натура подалась под тяжестью этого испытания, ставшего, наконец, невыносимым при его шестидесятилетнем возрасте. В 1681 году он написал и отправил к царю Федору послание, которое беспорядочностью мыслей и резкой неровностью тона ясно выдавало не совсем уже нормальное состояние узника. Начиналось это послание крайне смиренно. “Благаго и преблагаго и всеблагаго Бога нашего благодатному, устроению, блаженному и

треблаженному и всеблаженному государю нашему свету, светилу русскому, царю и в. кн. Федору Алексеевичу, не смею нарецися богомолец твой, но яко некий изверг и непричастен ногам твоим, издалече вопию, яко мытарь: милостив буди ми, господи!.. Помилуй мя страннаго, устраншагося грехми Бога и человек,— помилуй мя, Алексеевич, дитячко красное церковное! Тобою хочет весь мир просветитися, о тебе люди Божия расточенныя радуются, яко Бог нам дал державу крепкую и незыблему. Огради ми, отрасль царская, отради ми и не погуби мене со беззаконии моими... Зане ты еси царь мой и аз раб твой; ты помазан елеем радости, а аз обложен узами железными; ты, государь, царствуешь, а аз во юдоли плачевной плачуся”. Но не за себя только просил Аввакум и, моля о милости и освобождении, не отказывался он от подвига всей своей жизни. “Аще не ты по Господе Бозе, – продолжал он – кто нам поможет? Столпи поколебашася наветом сатаны, патриарси изнемогоша, святителие падоша и все священство еле живо, Бог весть, али и умроша... Спаси, спаси их, Господи, ими же веси судьбами!” И непосредственно за этими смиренными мольбами прорывалась дикая вспышка фанатического изуверства и накопившегося за долгие годы бессильного раздражения: “А что, царь-государь, как бы ты мне дал волю, я бы их, что Илья пророк, всех перепластал в один день. Не осквернил бы рук своих, но и освятил, чаю”. Среди дальнейших, беспорядочно набросанных фраз послания Аввакум вспоминал и об Алексее Михайловиче. “Бог судит, – говорил он,— между мною и царем Алексеем. В муках он сидит, – слышал я от Спаса; то ему за свою правду. Иноземцы, что знают, что велено им, то и творили. Своего царя Константина, потеряв безверием, предали турку, да и моего Алексея в безумии поддержали”...

В недобрый час пришла Аввакуму мысль написать это послание. При московском дворе мало уже осталось тех его доброжелателей, которые так долго отводили от него конечную беду, да и те, которые были еще пощажены временем, или уже совсем одряхлели, или потеряли свой вес и значение со вступлением на престол молодого царя. Сам этот царь не был связан как его отец с раскольниками ни узами личной дружбы, ни общностью взглядов: воспитанный киевским монахом Полоцким, наученный польскому языку и с охотой читавший на нем книги, он являлся уже представителем поколения, выросшего на идеях реформы, чуждого того мучительного колебания, которым для предшествовавшего поколения сопровождался разрыв с идеями и порядками старины. При таких условиях осужденный собором старик раскольник, выступавший с резким осуждением как церковной реформы, так и всякого общения с иноземцами,

решавшийся поносить память покойного царя, не мог рассчитывать ни на помилование, ни на сожаление. “За великия на царский дом хулы” приказано было сжечь и Аввакума, и его товарищей по заключению. 14 апреля 1682 года казнь эта совершилась, и жизнь, представлявшая собою почти непрерывный ряд страданий и мучений, закончилась на костре.

Казнь довершила дело, начатое ссылкой Аввакума, дорисовав его значение в глазах современников и ближайшего потомства. Для раскольников он являлся теперь не только мужественным проповедником, но и мучеником их дела, и этот подвиг мученичества в сознании многих подкреплял и освящал самое дело, ради которого он был предпринят. Такое отношение к Аввакуму особенно ярко обнаружилось во время спора, разделившего было раскольничьи общины вскоре после его смерти и возбужденного отголосками его же проповеди. Выше мы уже упоминали, что Аввакум явился создателем еретического учения о трисущности Троицы; наравне с остальными пунктами его проповеди и этот был усвоен наиболее ревностными его последователями, в особенно значительном количестве населившими керженские скиты, где главою их сделался старец Онуфрий. Здесь почтение к памяти Аввакума проявлялось в особенно благоговейных формах: раскольники писали иконы его и поклонялись им, сочинения своего учителя, и в том числе особенно его полемические “письма” к диакону Федору, украшали богатыми бархатными переплетами, хранили в церквах у образов и почитали почти как Евангелие. Ересь, заключавшаяся в этих произведениях, скоро, правда, нашла себе отпор в самой раскольничьей среде: именно руководители московской общины, в которой было больше людей с богословским образованием, выступили с обличением заблуждений Аввакума уже в 1693 году и успели добиться их осуждения в Москве. Но на Керженце не хотели признавать этого постановления и долго еще продолжали упорно отстаивать святость и правоту Аввакумова учения: “Добры письма, – говорили здесь, – страдалец бо их писал”; “Светлее солнца письма Аввакумовы”, – заявляли наиболее ревностные из керженских скитников в самой Москве. Раскол разделился на две партии: на строгих последователей Аввакума, прозванных “онуфриевцами”, и на отвергавших православие некоторых его произведений, которые получили в устах противоположной партии имя “кривотолков”. Уважение к имени и страданиям бывшего протопопа было, однако, так велико, что даже эти противники его учения относились к нему далеко не с обычной у них в подобных случаях страстностью: полемизируя с ересью Аввакума, они старались не только не задевать, но, по мере возможности, даже совсем выгородить из спора его личность, охотно

предполагая, вопреки очевидности, что спорные письма и не принадлежат Аввакуму, или что он от них впоследствии отказался. Но даже и такая полемика, сосредоточенная исключительно на самом вопросе, независимо от личности человека, его возбудившего, не достигала своей цели: под давлением московских раскольничьих богословов, Онуфрий и его приверженцы соглашались отвергнуть все, что было в “письмах” несогласного с божественным писанием, но непосредственно вслед за тем, припертые к стене вопросами о самих письмах, они заявляли, что “не токмо единой строки, но ни чертицы несходной несть в письмах Аввакумовых, но все в них сходно с божественным писанием”. Потребовалась новая, еще более серьезная, уступка со стороны защитников догматов, чтобы склонить противников к признанию своего мнения. Возникший раздор был прекращен своего рода компромиссом, в силу которого Онуфрий и его приверженцы обязывались никогда не читать и не толковать спорных писем Аввакума, но последние и не подвергались никакой хуле или проклятию, а только “отлагались”, т. е. изымались из обращения. Только под этим условием, и то лишь в 1710 году, восстановлен был мир внутри раскольничьей общины. Так ревностно охраняли ученики Аввакума его имя от всякого нареkania, так бережно вынуждены были относиться к этому имени даже те из раскольников, которые видели в Аввакуме человека, увлекшегося в ересь. И в дальнейших поколениях раскольников, среди которых уже не могло возникнуть спора по существу поднятого Аввакумом догматического вопроса, с течением времени, правда, и забывшегося, за протопопом оставался эпитет “многострадального мужа”. Еще Денисов характеризует его как “мужа огнепальныя ревности, добраго страдальца, иже, ревнуя о благочестии, всюду свободным языком проповедаше”.

Не забыли Аввакума и с другой стороны. В 1717 году арестован был в Москве, по обвинению в тайном исповедании раскола, мужик Иван, оказавшийся на следствии сыном бывшего юрьевоцкого протопопа. В течение многих лет томился он с матерью и братом в тяжком заключении на Мезени, пока, наконец, его не освободило отсюда заступничество князя В. В. Голицына, который и сам в то время находился уже в опале и через Мезень проезжал в место своей ссылки – Холмогоры. Его слово имело еще вес у двоюродного брата его, князя Б.А. Голицына, стоявшего тогда во главе правительства, и благодаря ему семья казненного протопопа получила свободу. Прожив несколько лет в Москве, Иван опять попал, однако, в руки властей и на этот раз уже не мог освободиться. Напрасно он заявлял, что он “в вере православной и в церкви православной

кафолической... в соединении быть хочет до кончины жизни своей непременно”, что он у исповеди бывал и святых тайн причащался, а “крестное знамение полагает он на себе трехперстное первых перстов”, напрасно проклинал раскольников и подтверждал, что “отца своего Аввакума за православного не приемлет и вменяет его за суцгаго святей церкви противника и всех злых дел его отрицается”. Слава отца громко говорила против сына, и призрак могучего протопопа заслонял в глазах судей мелкую фигуру Ивана Аввакумова. Дело о последнем все тянулось, и наконец Ивана, несмотря на все его оправдания, решили “отослать в монастырь дальний, куда надлежит, на вечное житье”. Только что успели, однако, назначить местом его ссылки Кириллов монастырь, как 7 декабря 1720 года Иван Аввакумов, “будучи в С.-Петербургской крепости за караулом, умре”.

ИСТОЧНИКИ

Главным источником для биографии Аввакума служат его собственные сочинения, напечатанные Н. Субботиным в его издании “Материалы для истории раскола за первое время его существования” (тома 1, 5, 8, отдельные указания и материалы рассеяны и по другим томам), и А. Бороздиным в его книге “Протопоп Аввакум”, СПб., 1898 г., приложения. Указания на литературу желающие могут найти в книге А. Пругавина “Раскол – сектантство”, М., 1887 и у С. А. Венгерова в его “Критико-биографическом словаре русских писателей и ученых, вып. 1, СПб., 1886, стр. 24—25.